

ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ
ЛЕОНОВ

✦
Дорога на океан
✦



✦ РУССКАЯ КЛАССИКА ✦

Русская классика (АСТ)

Леонид Леонов

Дорога на океан

«Издательство АСТ»

1935

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Леонов Л. М.

Дорога на океан / Л. М. Леонов — «Издательство АСТ»,
1935 — (Русская классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-177804-0

Изданный в 1935 году, роман «Дорога на океан» носит на себе явный отпечаток эпохи – времени первых пятилеток. Однако под пером Леонова строительство железной дороги превращается в возведение страны добра и справедливости. Поглощенные трудом герои, по словам самого автора, направляются «к Океану – в понятии Вечности», великому и светлому будущему. «Дорога на океан» – один из самых значимых романов Леонова. Сочетая элементы производственного романа с утопической фантастикой, автор создал яркое, энергичное и захватывающее повествование, оказавшее огромное влияние на Ивана Ефремова и братьев Стругацких.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-177804-0

© Леонов Л. М., 1935
© Издательство АСТ, 1935

Содержание

Курилов разговаривает	6
Крушение	8
Человек на мосту	12
В повесть втягивается Аркадий Гермогенович	16
Курилов и его спутники в жизни	19
Он едет на океан	25
Жмурки	30
Братья Протоклитовы	36
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Леонид Леонов

Дорога на океан

Серия «Русская классика»



© Л. М. Леонов, наследники, 2026

© ООО «Издательство АСТ», 2026

Курилов разговаривает

Беседа с другом не возвращает молодости. Неверный жар воспоминанья согреет ненадолго, взволнует, выпрямит и утомит. Разговора по душам не выходило. Друг рассказывал то, что помнил сам Курилов. Он и не умел больше; это был старый, бывалый вагон, но дизеля и моторы вставили в него, пол покрылся мягкой травкой хорошего ковра, а кресла и шторы на окнах придали ему непривычное благообразие. В купе, где почти вчера смердели жаркие овчины политработников, сверкало сложенное конвертами прохладное белье... Поколение старело, и вещи торопились измениться, чтобы не повторять участи людей. Как ни искал Курилов, не осталось и рубца на стене, разорванной снарядом. В этой четырехосной коробке мой герой когда-то мотался по всему юго-востоку, цепляясь в хвосты ленивых тифозных поездов. Но член армейского реввоенсовета назывался теперь начальником политотдела дороги. Судьба опять одела его в кожаное пальто и тесные командирские сапоги. Кольцо замыкалось.

Он достал трубку и пошарил спички. Коробка была пуста. Последнюю сжег диспетчер соседней станции, которого он разносил на предыдущей остановке. С минуту Курилов глядел на свои большие, в жилах, руки. Вдруг он покричал наугад, чтобы дали спички. Секретарь доложил кстати, что дорожные руководители собрались у вагона, Курилов приказал начинать совещание. Семеро вошли, толкаясь в узком проходе. У первого нашлось смелости рапортовать о благополучии Черемшанского района, и Курилов усмехнулся детской легкости, с какою тот соврал. Не отрываясь от бумаг, он махнул рукой. Они сели. Смеркалось, но все успели разглядеть нового начальника. Он был громадный и невеселый; лишь изредка улыбка шевелила седоватые, такие водопадные, усы. Он поднял голову, и все увидели, что не лишены приветливости начальниковы глаза. Догадывались, что он приехал шерстить нерадивых, и всем одинаково любопытно стало, с чего он начнет. За месяц пребывания в должности он не мог, конечно, постигнуть сложной путевой грамоты.

Страхы оказывались напрасными. Дело началось с урока политграмоты. Начальник меланхолично спросил о роли коммунистов на любом советском предприятии. Ему хором ответили соответствующий параграф устава. Курилов поинтересовался, хорошо ли задерживать выдачу пайков рабочим, и опять вопрос понравился всем своею исключительною простотой. Алексей Никитич осведомился также, есть ли бог. Парторг пушечным голосом объяснил, что бог не существует уже шестнадцать лет: таков был возраст революции. Курилов сдержанно выразил недоумение, каким образом пьяный машинист, на ходу поезда выпавший из будки, остался невредимым. Кто-то засмеялся; случай действительно обращал на себя внимание... Он оказывался совсем милым человеком, этот Курилов; такого удобнее было называть попросту Алешей. Вдруг начальник попросил директора паровозоремонтного завода снять калоши: с них текло. С алеющими ушами тот отправился за дверь, в коридорчик.

Курилов заново набил трубку. Синий дымок путался в его усах и расходился во все углы салона. Вопросы стали выскакивать из начальника, как из обоймы. Совещание превратилось в беглый перекрестный допрос, и дисциплинарный устав развернулся одновременно на всех своих страницах. Лица гостей сделались длинные и скучные. Их было семеро, а он один, но их было меньше, потому что за Куриловым стояла партия. И вдруг все поняли, что простота его – от бешенства. Значит, начальник не зря высидел двое суток на станции, не принимая никого. Сразу припомнилось, что в Ревизани этот человек с плечами грузчика и лбом Сократа одного отдал под суд, а троих собственной властью посадил на разные сроки; что в прошлом он – серый армейский солдат, которого эпоха научила быть беспощадным; что сестре его, почти легендарной Клавдии Куриловой, поручена чистка их дороги. Повестка дня неожиданно разрасталась.

– Начальник депо среди вас? – брюзгливо спросил Курилов.

- Никак нет. Он уехал в Путьму по вопросам снабжения.
 - Он знал, что я здесь?
 - По линии было известно о вашем прибытии.
 - Беспартийный?
 - Нет, он член партии.
- Курилов взялся за карандаш, приготовившись записать:
- Его фамилия?
 - Протоклитов.

Заметно удивленный, Курилов раздумчиво вертел карандаш. Должно быть, он понадеялся на память, раз не записал фамилии смельчака. Ждали неожиданной разгадки, но здесь задребезжал звонок. Секретарь Фешкин схватил трубку. Он долго мычал какие-то вопросительные междометия, всунув голову между кабинкой управления и старомодным ящиком аппарата. Стало очень тихо. Трубка начальника гасла; что-то всхлипывало в ней. Фешкин попросил разрешения доложить, но все уже поняли сущность дела. Происшествие случилось на двести первом километре, у разъезда Сакониha. Шестьдесят шесть вагонов было разбито, из них восемнадцать ушло под откос. Причины крушения, наименование груза и количество жертв остались неизвестны. Вспомогательный поезд вышел из Улган-Урмана час назад... Курилов пошел к окну. Оно запотело: семеро надышали. Он протер стекло взмахом рукава. Лицо его было усталое и хмурое.

Шли ранние осенние сумерки. Мелкий, почти туман, сеялся дождик на путях. Между вагонов бродили тучные куры, подбирая осыпавшееся зерно. Два чумазных, тепло одетых мальчугана, дети депо, играли возле вагонной буксы. Старший объяснял младшему, как надо насыпать туда песок; в ребенке угадывались незаурядные педагогические способности. Детскими совочками они набирали материал из-под ног и стряхивали в смазочную коробку. Вагон был товарный, с чужой дороги, и направлялся в ремонт.

– Фешкин, сколько до Сакониhi? – спросил Курилов, и на этот раз детишки показались ему чертями.

Начальнику ответило хором несколько голосов. Туда было час с четвертью, если не задержат в Басманове. С этого узла открывалось большое встречное движение. Кроме того, шел хлеб нового урожая. Курилов повторил вслух это могущественное слово.

– Включиться в график... едем! – И посмотрел себе под рукав; было ровно девятнадцать.

И опять, шуря кубанские свои, со смородинкой, глаза, Фешкин испросил позволения доложить. Голос его звучал надтреснуто. Автомотриса не могла отправляться немедленно. Несмотря на ряд напоминаний, все еще не доставили соляровое масло с базы. Курилов помолчал.

– Хорошо, я поеду на паровозе. Распорядитесь... – Он повернулся на каблуках и удивился, что эти люди еще здесь. – Ну, все могут уходить. Совещание отменяется. Мысленно обнимаю вас всех. – И резкий жест его пояснил истинный смысл приветствия.

Он надел пальто. Перекликались маневровые. До контрольного поста было шесть минут ходу. Кочегар раздвинул шуровку. Носовой платок в руках механика казался куском пламени. Плиты под ногами зашевелились. Зеленая семафорная звезда одиноко всплыла над головой. Курилов вышел на переднюю площадку паровоза. Здесь он простоял целый час, наблюдая, как в пучках света вихрится, пополам с дохлыми мошками, встречный мрак. Паровоз стал замедлять ход, в октаву ему откликнулись осенние леса. Курилов спустился вниз и двинулся прямо на задние сигнальные огни вспомогательного поезда. Оттуда в лицо ему повеяло острым холодком беды.

Крушение

Было холодно, глухо и печально. За теплушками ремонтной бригады попался первый вывороченный рельс. Отсюда поезд шел прямо по балластному слою, дробя шпалы гребенкой колес.

Кто-то бежал навстречу, размахивая фонарем. То и дело посверкивало в мокром лаке калош. Человек панически спросил, не приехал ли **начподор**. Курилов назвал себя. Они пошли вместе. Человек оказался начальником местной дистанции. Курилов задал неизбежные вопросы. Была надежда, что движение откроют завтра к полудню. Огромный этот срок определял размеры катастрофы. Выяснилось, что произошел отлом головки рельса. Это была старая, запущенная ветка с рельсами образца девятьсот первого года, с подошвой в сто восемь миллиметров. Начальник дистанции образно прибавил, что это не путь, а исторический памятник. Курилов недобро взглянул на него и промолчал... Минуту спустя он спросил, давались ли предупреждения поездным бригадам. Сбивчивому ответу соответствовала такая же суматошная жестикуляция. Фонарь стал описывать крайне замысловатые фигуры. Оказалось, что требования на рабочую силу и ремонтные материалы выполнялись всегда в урезанных количествах. Но начальник дистанции знал, что в его власти было вовсе закрыть движение, и сбился окончательно. Надо было, однако, заполнить чем-нибудь эту зловещую тишину... Итак, санитарный поезд ушел полчаса назад. Да, раненых было не очень много! (Впрочем, он воспользовался тем, что Курилов не настаивал на точной цифре.) Пассажирских вагонов во всем составе было только четыре; все четыре – облегченного типа, двухосные. Конечно, они вошли друг в дружку, как спичечные коробки.

Курилов сдержанно попросил не размахивать фонарем.

– Вы подшибете меня, гражданин, – сказал он грубовато.

А тот и себя-то еле слышал.

– ...Когда мы прибыли сюда, представьте, возле обломков стояла отдельная... вполне отдельная ступня в лапте. Я так удивился, что чуть было не поднял посмотреть. Но самого человека, который к ступне, как ни искали, не нашли...

– Какую вы чепуху плетете!.. – вскользь заметил Курилов.

– Никак нет, товарищ начальник... – Ветер, невидимый ветер, затыкал ему гортань, и вот уже не оставалось сил сопротивляться неминуемому. – Но это означает, что под грудами лома могут еще находиться пассажиры!

Несколько шагов они прошли молча.

– Подходящее место для пассажиров... – тихо сказал начподор. – Вы не особенно нужны мне. Ступайте!

Но тот не отставал. Именно теперь страшно было оставить начальника наедине с его мыслями. Курилов почти не слушал, что болтал его спутник. Скоро они добрались до самого места крушения. Горы путаного железного лома громоздились на насыпи. Мягкие вагонные рамы, сплетенные ужасной силой, служили основанием этого варварского алтаря. Еще дымилась жертва. Тушей громадного животного представлялась нефтяная цистерна, вскинута на самую вершину. Судорожные полосы факельного света трепетали в ее маслянистых боках. Навсегда запоминался тупой обрубок шеи. Орудие убийства было налицо: два кривых рельса уходили в подбрюшье цистерны. Еще капал из раны густой и черный сок. И точно затем, чтоб никто не видел агонии, висела фанерка с запрещением подносить огонь. Курилов подошел ближе. Исщепленная обшивка вагонов щетинилась в нечистом дрожащем сумраке. Все это было скуповато полито ползучим багрецом несчастья.

– Очень хорошо... – прохрипел начподор.

Могучие костры полыхали далеко внизу по сторонам насыпи. Их было много, может быть семь. Пламя достигало верхнего уровня леса. С обугленных ветвей струились тоненькие ленточки дыма, вышитые искрами. Они долго металась и маялись над головой, прежде чем погаснуть. Эти неповоротливые, равнодушные пламена лишь усиливали ощущение гибели и разрушения. Дальше стало не пройти: опрокинутый вагон перегораживал путь. Курилов спустился вниз под откос. Сапоги глубоко тонули в сугробах сыпучего, непонятного вещества. Это оно придавало такую бугристость очертаньям насыпи и теперь с легким шелестом бежало вниз, к огням.

Стараясь не наступать даже на тень Курилова, начальник дистанции преследовал его сзади.

– ...Обстоятельства крушения представляются в следующем виде. Уклон в этом месте достигает шести тысячных, то есть шесть метров падения на километр пути. Двадцатисемиминутный перегон машинист проходил с нагоном времени в восемнадцать минут. Шли с толкачом. Выяснено, что опоздание произошло по причине свеклы. Я хочу сказать, – потухшим голосом поправился он, – бригада задержалась в Басманове для покупки двух корзин свеклы, которая в этом районе отличается сахаристостью.

– Допросить старшего кондуктора.

– Никак нет, он убит. Когда мы прибыли, он висел сплюснутый на стоп-кране. Мы пробовали кувалдами сбить с него тяжесть, чтоб расспросить подробнее, но он... Нагнитесь, товарищ начальник!

Скрученный рельс торчал на весу поперек пути. Вагонная дверь в чудесном равновесии покачивалась на нем. Люди молча подлезали под головоломное сплетенье крыш, осей и швеллерного железа, нависавшего над головой. Курилов расстегнул пальто, ему стало жарко. Отчаянно покричали сверху: «Пырьев и Тетешин на домкраты, остальных давай на канат!» И, точно клапан открыли в тишине, стали слышнее голоса, треск дерева и металлические стуки, но жалобного шелеста под ногами не могли заглушить все остальные громы и шорохи ночи.

– ...в таких условиях следовало давать не более тридцати километров, но, опасаясь помять график своей свеклой, машинист поднажал и попал как раз на то место возле пикетного столбика. Он дал сигнал тормозам, и на мосту стал натягивать состав, чтобы с ходу взять подъем...

– Посветите мне, займитесь делом! – сказал начподор. Этот человек обладал даром быть неприятным.

Нагнувшись, он черпнул ладонью с насыпи. Он испытал при этом ноющую боль в спине: сказывалась поездка на открытой площадке паровоза. Было, однако, не до простуды. Внимание целиком принадлежало горсти этого щекотного, жирного, с таким вкрадчивым шелестом, вещества.

– Что это, зерно?

– Так точно, пшеница.

Она мерно цедилась сквозь пальцы, и горстка убывала на глазах.

– Сколько ее здесь?

– Под хлебным грузом находилось шестьдесят два вагона. Из них разбито... почти все разбиты! – признался тот с удалью крайнего отчаянья. – Словом, мы образовали комиссию под моим председательством и постановили... Вы желаете что-то спросить, товарищ начальник?

Курилов поднял голову. Должно быть, это пыль и копоть от часового пребывания на паровозе искажали так его черты. Как судьба, он безотрывно глядел теперь в лицо этого человека, участь которого была ему известна наперед. Начальник дистанции был немолод; липкая темная прядь волос, подобно следу от топора, пересекала его потный лоб. Глаз его, запавших в глубину, Курилов не разглядел вовсе.

– Дети у вас есть?

Тот по-своему понял вопрос: в его положенье хороша была и милостыня.

– Так точно, двое. Кроме того, я плачу алименты... – И взяткой пахла его непрощенная искренность.

– По-видимому, это вам больше удастся!

...Итак, речь шла о хлебе. Это было самое грозное слово тех лет. Политическое значение хлеба давно переросло его товарную ценность. По существу, новая эра начиналась с этого первого социалистического хлеба... Все вокруг было зерно. Одеялом его была укрыта насыпь, и деревья росли на пшеничных холмах. Оно ползло в костры, трещало в них и смрадило. Никто никогда не сеял так щедро. «То-то всколосится по весне!» – глуховато сказали сзади.

Теперь уже не один, а целая свита сопровождала начподора. Как на подбор, вся она состояла из начальников. Рядышком, на правах старшинства, шагал начальник района. Сердито посапывая, он изредка останавливался высыпать из калош забившееся зерно... По-солдатски мерил пространство артельный староста, он же начальник ремонтной колонны, монументального строения старик со смоляной, из-под самых глаз, бородою. Начальник улган-урманского депо приехал взглянуть на катастрофу окружного значения. («Ваша фамилия не Протоклитов?» – спросил на всякий случай начподор. «Никак нет, Кусин!») Еще какая-то долгополая власть присоединилась к этой беспримерной прогулке. И, наконец, высоко держа факелок, который шипел и ронял капли керосинового огня, лихо завершал шествие детина с самоотверженным лицом, тоже – факелу своему начальник. Так они шли, сопровождаемые пальбой и трескотней костра, когда бросали в него с маху сырые чурки.

Курилов снова нагнулся, и тотчас же все повторили его движение. На сдвинутом рельсе лежала старая сплюснутая железка. Едва зажатая под соединительный болт, она прикрывала отломанную и приложенную на старое место головку рельса. Покрышка еле держалась, не стоило труда оторвать ее напрочь. Начподор приказал произвести промер отлома. Панцирный ноготь артельного старосты вдавился в линейку близ цифры пятнадцать. Старик не посмел произнести вслух эту цифру. Тотчас же несколько рук вытолкнули вперед не шибко расторопного, тонкошеего старичка в обтрепанном красноармейском шлеме. Он и не думал бежать, но каждый держал его за какой-нибудь незначительный клочок одежды. Курилов спросил, кто этот местного масштаба чудак. Ему дружно гаркнули в самое ухо, что это и есть дорожный мастер, непосредственный хозяин катастрофы.

Запинаясь и замороженно поглядывая в орденки, что поблескивали за отворотом распахнутого начподорского пальто, мужик стал объяснять назначение железки. Это было не его изобретение; как чрезвычайная мера она допускалась и на других линиях, чтобы не задерживать очередного состава; и не его была вина, что здесь это стало обыденным явлением. Курилов вяло усмехнулся этой дурацкой правде, и вдруг все поняли его усмешку как одобрение происходящему. Раздались голоса, недружные вначале, что страшного в этой штуке ничего нет, называется бандаж, по-русски – бинт, накладывается под болт, крепится гайкой, а колесо прижимает его при проходе, и все получается хорошо, даже с пользой государству. «Как есть мы бедняковско государство, и должны мы отсоль обходиться по маленькой!» – вскричал тонкошей, и какой-то подвернувшийся мужчина с утиным носом прибавил от себя, что «жизнь ноне производится не в пример слабже супротив прежних времен, а только суеты гораздо больше». Тут же выяснилось, что железа на бандажи не хватает, и артельный староста все ведра у бабы своей покрал, все крыши посымал с битых вагонов, лишь бы не останавливать движения на любимом транспорте.

– Путя шибко плохая! – воодушевленно вскричал тонкошей. – Иной раз рельсу от старости в одиннадцати местах порвет, пра! Еле успеваю, дорогой товарищ. Все бегаю да железки накладываю!

– Вы, что же, спринтер, что ли?.. Все бегаєте, – полюбопытствовал начальник района.

– Не, я из-под Житомира, беженец. У меня и семейство тут...

Жертва была найдена. Потянулись взглянуть на нее в последний раз перед тем, как отдадут ее прокурорам. Факельщик поближе поднес огонек. Желтое пламя озарило круглые конопатые щеки, как бы облепленные тополевым пухом. В бедных варварских лаптях, с клоком ваты на плече драной кацавейки, мужик глядел напуганно, но улыбался, улыбался всем.

– ...И надолго такого банджа хватает? – вялыми губами спросил Курилов.

И опять начальник дистанции скрипнул калошами и тряхнул головой:

– Разрешите доложить. Трехмиллиметровое железо пропускает восемнадцать составов.

Я проверял лично...

Начподор вздрогнул и брезгливо качнул головой. И так, преступление опиралось здесь даже на научное исследование. Точность его гарантировал инженерский значок на фуражке путейца.

– Я вас выпущу из своих рук только под суд... – сказал начподор, глядя на эти новенькие, как бы гарцующие перед ним калоши. Ему все еще было жарко, но он не понял и стал застегивать пальто; пальцы срывались с петель. – Бесстыдник вы...

Он заторопился из этой человеческой ямы. Начальников кругом поубавилось. И тотчас же веселее стало глазу. Сотни ловких и безотличных людей сновали между обломков, и как будто целый заводской цех приехал сюда в полном составе. Клокот дорожных кирок, плакучий визг домкратов... даже их не хватало преодолеть давешний шелест под ногами! Внизу, мимо костров, вереницами шли с ведрами колхозные бабы. Они черпали зерно и сыпали его во временные бунты. Сам колхозный председатель управлял людским потоком, и по лицу его, напряженному и багровому от огня, проходили тени этих пятисот мужиков. Подгонять их не приходилось, потому что им понятнее всех была истинная цена хлеба. Так они спасали зерно.

Иногда лихой гортанный крик раздавался сверху: «Давай на канат!» И потом щекастый паренек, уткнув в бока ручищи, зачинал длинную и не очень сложную песню. В ней было и про то, как «совецку власть спасали меленковски кулаки», и про то, как собственную милку его посватал «черноусый раскоряка, из Сарапула купец». Никто не смеялся, хотя все знали, что это очень смешно. Парень вертел головой при этом, чтобы песни хватило на всех, и пламя факела трепетало от пронзительности его голоса. Мужики внизу слушали его в почтительном и сумеречном молчании. Затем следовал одинокий вскрик, тяжелая вагонная рама вставала на дыбы и сразу, кромсая дерн, брызгаясь землею, теряя окна и двери, рушилась под откос. Так они чистили путь.

Курилов шел дальше. Лесная тишина густела. Начальники отстали.

Человек на мосту

Действовал закон дорожных катастроф. Площадь крушения была обратно пропорциональна его размаху. Всего на протяжении восьмидесяти метров срезало и раскидало путь. Тотчас за поворотом начиналась нетронутая трасса. Изредка чиркая спичку, Курилов взглядывал себе под ноги. Качество пути всюду было одинаковое. Еще один, вроде давешнего, бандажик попался ему по дороге. Начальник сложил его вчетверо, как бумагу, и спрятал в карман, чтобы показать в наркомате. Одурающе пахло острым, после первого заморозка, листовым гниением. Табор, суматоха, длинные огни ада – все оставалось позади. Сюда не достигал суетливый, расплесканный гомон этой ночи. Все спало, даже ветер.

Курилов много думал об этих людях, потому что глядел на них не из вчерашнего дня, а из завтрашнего. За последний месяц перед ним прошли сотни людей: стрелочники, кондуктора, инженеры, ревизоры движения и пути. Все соревновались на показатели лучшей работы, все состояли членами всяких добровольных обществ, все до изнеможенья выступали на совещаниях, все повторяли то же самое, что говорил и он. Здания станций, столовых, управлений, даже диспетчерских кабинетов были утеплены стенгазетами, профсоюзными объявлениями, лозунгами, плакатами и еще множеством серого цвета бумажек, на которых было написано что-то мелко, торопливо и плохим карандашом. Но качество перевозок оставалось прежним, и катастрофы время от времени напоминали массовые древние жертвоприношения. Партия ждала ответа от него, Курилов пока молчал. Он еще не знал... Боль в пояснице мешала ему сосредоточиться. Просунув руку под пальто, он тер кулаком простуженное место; боль унималась, он шел дальше.

Влажным знобом потянуло в лицо. В проеме леса объявились пустынная река и мост на ней. Пространство расширялось, и хотя накрапывало временами, колдовски светилась западная окраина неба. Очень далеко горела деревня. Зарево состояло из тусклых желтых воланов, как рисуют зарю на трактирных картинах. На мосту чернел плотный и невысокий силуэт человека. Опершись локтями о перила, он глядел в стылую предзимнюю реку. Она была омутиста и ленива; только у деревянных быков, у самой пяты, вздувались лиловые горбыли воды. Курилов неслышно подошел сзади. И хотя сердце всегда учует прежде, чем увидят глаза, человек не обернулся.

– На мосту запрещено стоять посторонним, – сказал Курилов.

Человек вздрогнул, оглянулся, и тело его мгновенно подалось назад, на железо. Они узнали друг друга с первого взгляда. «Здорово, президент республики!» – чуть не выговорилось у Курилова. Встреча была неожиданная для обоих. Но и вся эта ночь была полна необыкновенностей. Она началась с имени Протоклитова, с подыхающей цистерны, расточительных россыпей зерна, а до конца ее было еще далеко. Сама природа события, ради которого попал сюда Курилов, неузнаваемо искажала всю действительность.

– А я обходчик тут, – тихо сказал человек и немножко выпрямился. – Тут и служба моя.

– Обходчик – значит, твое дело ходить, стеречь, наблюдать порядок. Слышал, что у тебя случилось? – И кивнул в сторону, откуда пришел.

Человек сказал спокойно:

– Тот участок не мой. Взаимного отношения не имеем.

– Да... но и у тебя эти штуки есть! – Он вынул из кармана давешнюю железку. – Это я у тебя снял.

Что на это скажешь?

Тот принял улику из рук Курилова, погнул в одну и другую сторону; ржавая, она подавалась даже без металлического хруста. Усмехаясь, он вернул ее.

– Плохая!.. Заплата временной нишпаты!

Дерзость была острая, она пахла намеком, но не стоило обижаться до срока, пока не выяснены будут правила начавшейся игры.

– Говоришь ты чудно. К слову, как зовут-то тебя?

– Меня? – Он погладил мокрое железо перил. – Я Хожаткин. Родион Хожаткин, вот кто я.

Он солгал без запинки и с тем большей легкостью, что Курилову незачем было уличать его. Сомнений не оставалось. Настоящей фамилии этого человека, когда-то знаменитой на Каме, нельзя было забыть. Да и слишком памятна была эта громадная черноволосая Олофернова голова на широком, коренастом торсе. Помнилось также, что Павел Степанович Омеличев не имел живых братьев; старший умер во время войны, и похороны его запечатлелись в памяти провинциального городка как образец неуклюжего купеческого тщеславия. Была, значит, какая-то причина Омеличеву стать Хожаткиным. Может быть, стыдился нынешнего непотребства своего и нарочно рядился в новое, полное фонетической отвратности имя.

Под стать фамилии была и внешность: грязная стеганая на вате куртка и пролыселый, как бы истоптанный треушок. По громадности чурковатых ног, по веревочным колтунам на них Курилов понял, что они обуты в лапти. Словом, перед начподором стоял битого вида мужичок, который от беспокойств нынешней деревенской жизни продал бедную свою лапотинку и веселое ремесло променял на одинокую, отшельническую должность. Все, включая и напевную, окающую речь его, было сработано искусно, продуманно и слаженно, без единой щелки. Был вполне достаточен для этого четырнадцатилетний срок.

Поздороваться ему с бывшим знакомцем значило бы признаться в падении и проигрыше, согласиться на превосходство Курилова, которого видывал в иной, посмешнее, форме и однажды почти держал в руках; протянуть ему руку – не означало ли заискивать в куриловском снисхождении или, что еще поганее, как бы напоминать про уплату старого должка. Все это понимал и Курилов и оттого решил держаться принятого тона.

– Что же, на пожар любишься, Хожаткин?

Зарево выдувалось вправо: должно быть, свежей пищи подвалил ему ветерок.

– Вот, гляжу: пожар, суета, небось бабы стонут, коровы мычат, ребятишки пустыми глазами смотрят. А до меня уж не доходит: дальность. Воспоминанье одно: почадит и заглохнет! У самого тоже все погорело. Так и живу, как Ефрем Сиринов, с дыркой посередине души. И даже сам не знаешь, чего в тебе больше – дырки аль души. А только с той поры тянет меня на огонь, как на водку...

– И большой дом был у тебя, Хожаткин? – раскуривая трубку, спросил Курилов.

Обширные палаты Омеличева, венец творения прикамских зодчих, где впоследствии помещалась Чека, были ему хорошо известны, да не о тех палатах шла речь.

Огонь пятнисто осветил лицо этого человека. Нет, это был не прежний Омеличев, цыганской масти и русской закваски. Этот выглядел много старше, а между тем были они с Куриловым почти однолетки. В бровях, одна ниже другой, серебрились волоски; глаза запали вглубь, ближе к разуму, и мудрость их стала плачевна. Росла полукружиями клочковатая борода, делавшая его похожим на сыча. Но меховой козырек треушка не прикрывал высокого, пазухами вперед, лба. Соколенок улетел, цыган улетучился, а злой и горький разум остался... Курилов разжигал свою трубку несоразмерно долго.

– Уж ладно, погляделся, и хватит! Туши свою спичку, пальцы сожжешь, – глухо заметил Хожаткин, отворачиваясь. – Ты про дом спросил. Дом мой был хороший дом; тесноват – да в тесном-то теплее. А сколько добра накоплено было!

– Жалеешь?

– А нет. С непривычки-то перво время и холодно, и стыдно, и боязно было по канавкам скитаться, а потом обошлось. Папаня говаривал: огонь – божья ласка. Он слабже не умеет приветить, бог-то!

– Один здесь живешь?

– ...как перст. Всё обрубил. Культяпый я, милый гражданин...

– Фрося-то жива? – неожиданно для себя спросил Курилов.

Хожаткин досадливо закусил губу.

– А не знаю. Семь лет – сроку много.

Они замолчали, оба недовольные случившейся обмолвкой. Тут собака подбежала, тощая, как бы в лохмотьях, собака нищего. Она обнюхала куриловские сапоги; запах был привычный, лежалого железа и мазута. Легонько, без обиды, Хожаткин толкнул ее ногой. Она села и уставилась туда же, на зарево. Взгляд ее был древен и печален. Всякому свое: на пожаре могли оказаться и собаки.

– Пес твой?

– А мой. Егоркой звать. В мороз подобрал, собачью дружбу легко купить. Вот окривел намедни, мальчишки выхлестнули. Известно, дети, цветы жизни!.. – Он потрепал по шее пса, Егорка лизнул руку, угадывая мысль хозяина. – Я сюда, на мост, каждую ночь хожу, как в клуб. Человек там поет, на реке. Иногда час попоет от полуночи, иногда более. Тут ведь лес, поселенья нет. – И с вызовом махнул на круглое, косматое, пустое пространство впереди.

– Рыбак, что ли?

– А не знаю. Может, святой, а может, просто так, коней караулит. А может, тоже Ефрем Сирин. Их ноне табуны развелись. Знаешь, даже мудрый, даже в уединении ищет эха, чтоб поделиться с ним. Иные львов заводили при себе, либо змею, либо птаху какую, а этот с песней тешится. Голос не старый, и слово неразборчиво, а поет нежно и с понятием звука...

Курилов слушал, покачивал головой, не умея добраться до смысла хожаткинских намеков.

– Спустился бы узнать, что за человек. Может, без документов? Ты – обходчик. – Он нарочно огрублял свою мысль, чтобы вызвать своего ночного собеседника на ссору, потому что в ссоре открывает человек свое лицо.

Но уже и теперь не выдерживал Хожаткин взятого тона: мужики так не говорят.

– Песне документа не нужно. Она сама по себе. Да и поет он для себя, а я вроде вора пользуюсь. Коли не торопишься, пожди малость, скоро запоет. Занятно бывает: чужую песню слушать – точно на звезды смотреть.

– Нет, мне уж пора, Хожаткин. Ты проводи меня до поворота.

Тот неохотно оторвался от перил.

– Что ж, мы с ним ходить легкие. Пошли, Егорушко?

Все трое они двинулись в одну шеренгу. И опять не давались им слова. Хожаткин прятался. Скоро, учуяв поживу, собака метнулась под откос. И верно, мгновение спустя послышался тяжелый плеск птичьих крыл. Опять сорвалось собачье счастье. Слышно было, как, отчаявшись в удаче, лакал Егор воду из канавы.

– Ты на будущее время святым-то не особо верь, Хожаткин. Осмотри молодца, паспорт спроси... они такие! Как на людях стыдно, так к богу за пазуху укрывались! – снова начинал и начинал Курилов. – А что про крушенье думаешь?

– Тебе виднее, ты сверху приставлен, – уклонился тот. – Тебе виднее, причина родит людей аль люди причину.

– Притча! Я знаю, ты скажешь: рельсов нет, рабсилы не хватает. Но ведь здесь временную заминку в постоянное правило возводят. Неверно, мы богаты, Хожаткин.

– Это правильно. Через всеобщую нищату ко всеобщему богатству!

– Опять притча, – сердился Курилов, хотя и понимал, к чему тот клонит. – А почему предупреждений бригадам не выдавали?

– А что ж их давать? Ездить-то надо! Смотри, сколько грузов навалили. В былое время, как я сюда определился, начальник станции с семейством на паровозе за грибами ездил. Самовар поставят в лесу, детишки перепелок гоняют, а кучер тем временем выпится на тендере...

– Значит, признаешь, что выросли от той поры?

И с этого места возобновился старый разговор, прерванный когда-то на одном купеческом чердаке.

– Мы не говорим, что развития нонче нет. Оно есть. Нам державы удивляются, и так ли еще впредь удивятся! Содрогнутся однажды державы и головами покачают, которые уцелеют. А только... – Он шел, грузно переваливаясь, почти как его пароходы когда-то с хлебными баржами позади. Он шел-шел и тихо засмеялся вдруг. – У нас тут очень смешно вышло. Барышня одна, така жулябия, завмагу за головку сыра отдалась. Шуму что было! Завмага вон, магазину ревизия (свиной головы недосчитались да маргарину пуд!), правление в газетах раскровенили. А дело-то не в завмаге, а в барышне. Завмаг, вишь, кривой, вроде моего Егорки. На него глядеть-то – в горле першит. А при барышне ейная мама да меньшой брат. Хотя не жаль, барышня-то из поповен, чего ее жалеть! Наш папаня, бывало, говорил: «Не каждой маме дорога кровь чужого сына». Оно и наоборот справедливо...

Все это казалось непостижимым. Человек этот, даже если не читал газет с приказом о назначении Курилова, мог легко догадаться о его должности по форменной фуражке, по звездочкам на выпушке воротника. Он не был пьян – значит, просто не дорожил своим местом? Видимо, гоненья и ненастная скитальческая судьба не отбили прежней дерзости у этого человека. Все его речи были только нагноением на старой ране.

– Давно на дороге?

– Двадцать шестой год, – не сморгнув, солгал тот.

– В профсоюзе состоишь?

– Плачу'.

– А ты еще злей стал, Павел Степаныч!

Тот отпрянул, Курилов смешал карты игры. Отшельник поторопился отыскивать себе эхо и теперь раскаивался.

– Ты меня спрашивал, я отвечал, начальник. Ты бы мне подмигнул, я тебе по-твоему отвечать стал бы. Ну, отпусти меня теперь. Мой участок досюда. Позвал бы тебя в гости, да табуретка у меня одна. Кому-нибудь на полу сидеть, а ты ведь не сядешь. Да и неловко тебе со мною. Могут за это стукануть и тебя... – И сдернул треушок на прощанье.

Нужно было знать многое из их прежних отношений, чтоб не дивиться сумасшедшей проникновенности беседы. Курилов молча пошел вперед. Через несколько шагов он оглянулся. В темноте еще угадывался коренастый, без шапки Хожаткин. В дымке осенней ночи мерцал его лоб. И еще слышно было, как чесалась собака: донимали ее клещи.

В повесть втягивается Аркадий Гермогенович

Из-за поворота показался костер. В него только что свалили вагонную раму. Целые копны искр метнулись с раздавленных головней. Мимо раздробленного железного хлама, мимо озер зерна, мимо телефонистов, которые пристроились тут же на брезентах, закинув свои шесты на провода, Курилов шел дальше. Гудели зуммера, трещал огонь, как подкидывали ему свежих поленьев. У громоздкого окосолапевшего существа, носившего имя 509–А, Курилов остановился, и тотчас же его снова окружили начальники. Кучка людей суетилась возле паровоза. Воздетый на домкраты, он беспомощно, выбитым зраком, глядел впереди себя. Штук тридцать шпальника, который он сгреб, зарываясь в землю, беспорядочным штабелем преграждали ему путь. Что-то еще дымилось в нем: парил неостывший котел. Все его умные геометрические сухожилия были в песке. Передний поршневой шток согнулся. Самую коробку правого поршня ударом отвалило в сторону. Оторванное колесо передней тележки валялось тут же. В свежем стальном изломе бродили крупитчатые искры. Под брюхом котла, лежа на спинах в песчаной яме, молчаливо работали люди. Свежий, еще ржавый рельс они старались подпихнуть под скаты.

– Осторожнее, не зашибись!

– Не вперво-ой...

Сопровождаемый начальниками, Курилов спустился вниз, к пассажирским вагонам. Четыре плацкартных двухосных, они были завалены битым порожняком, опутаны травой, облеплены глиной, с дырявыми пролежнями в боках. Колеса полнолуниями круглились над головой. Из одного окна, чудом просунувшись через оба стекла, росла ободранная березка. Рядом, на завалившейся стенке, стыла черная, с лаковым отблеском, лужица. Факел отразился в ней круглым, во много колец, бликом.

– Кровь, что ли? – вяло спросил начподор.

– Не, его мазут. – Факельщик коснулся пальцем и, суеверно отдернувшись, вытер о траву. – Во, начальства ждут, а вытереть не догадались, дьяволы!

В застылую лужицу упала огненная капля, поворчала и загасла. Кто-то коснулся куриловского локтя. Начальник обернулся не сразу. Может быть, Омеличев вернулся досказать при людях то, чего не посмел наедине? Курилову приятно было вдвойне, что ошибся.

Это был маленький, старомодного вида и вконец обезумевший старичок. Широкополая шляпа сбилась на затылок, мелькали полы его громадного брезентового плаща, рябило в глазах от его рук, которых, казалось, было вчетверо больше против обычного. Качалась его голова и тряслись безволосые щеки. Он походил на волчок, запущенный в неистовое вращенье. Не сводя глаз с высокого начальника, не в силах выкрикнуть и междометия, старик суматошливо шарил у себя по карманам. Прекратив работу, люди угрюмо наблюдали эту истерику. Что-то передавалось, однако, и им; всем становилось одинаково тошно и как-то зыбко под ногами. Это был пассажир с разбитого поезда. Кто-то шепнул на ухо начподору, что старик два часа высидел среди обломков, прежде чем прорубили пол и извлекли сверху.

– Уберите его отсюда, – приказал один из начальников и выбранился. – Суньте его к черту, в теплушку...

Уже протянулись решительные руки, но тут личико старика прояснело и оживилось. Он сорвал с себя шляпу и молниеносно завертел в пальцах. Похоже было, что самая участь его решалась в эту минуту. Он вскрикнул, и на лицах у всех множественно отразилась его улыбка. Утраченная вещь была на своем месте, под ветхой лентой шляпы.

– О, мне всегда везло! – И рванулся вперед, на Курилова. (Кто-то благоразумно и вовремя подхватил небольшой, в наволочке, узелок, выпадавший из его рук.) – Мне нечего роптать на судьбу! Знаете... знаете, я даже мух ловлю без промаха. И я сразу догадался о вас. Начальника,

э, легко узнать во все века по тому, пардон, флюиду беспокойства и подчинения, который он распространяет вокруг себя. Я заметил вас издали, когда еще...

– Не шумите, а то я прикажу удалить вас отсюда, – вразумительно прервал Курилов, потому что этот пронзительный голос даже приостанавливал работы. – Что вам надо от меня?

Старик смутился. Провидение на этот раз принимало слишком суровую осанку.

– Вот, – сказал он потерянно, протягивая крохотный кусочек картона. – Возьмите! Моя фамилия Похвиснев. Был сенатор Похвиснев, который в наше время судил еще Нечаева, но я...

– Дайте сюда.

То был плацкартный билет на проезд от Москвы до станции Черемшанск. Билет выглядел вполне законно: стоял порядковый номер, и была выбита дата продажи. Это объясняло, каким способом Похвиснев попал сюда сквозь расставленную всюду охрану. Курилов вернул ему эту неоспоримую декларацию пассажирских прав.

– Нет, – сказал сухо Курилов. – Я не смогу вас взять с собою. Я приехал сюда на паровозе. – Он мог бы прибавить также, что мотриса политотдела не предназначена для перевозки пострадавших.

Он возвращался мимо людей, которые все еще кричали, гипнотически заражая друг друга бодростью и ожесточением. По дороге он встретил Фешкина; соляровое масло доставили наконец. Обрадованный встречей с начальником, секретарь стал докладывать сводку о суточной работе дороги. Не дослушав, Курилов повернул вспять: он изменил намерения относительно давешнего старика. Похвиснев находился на том же месте, с прижатым к груди узелком, похожий на провинившегося школьника. Более оскорбленный, чем поверженный своим несчастьем, он все еще улыбался. Какой-то жалостливый слесарь с куском тормозной кишки в руках толковал ему сбоку, что ежели он заявление в дирекцию сопроводит надлежащими удостовереньями, ему, без сомнения, возвратят затраченную на билет сумму.

– Идемте, – сказал Курилов, беря старика за рукав. – Моя мотриса, кажется, прибыла.

Тот повиновался, но выражение испуга и потерянности он сохранял все то время, какое провел в вагоне начподора. Фешкин, обязанности секретаря совмещавший с комендантскими, отвел ему свободное купе. С тем же страхом и ожиданием еще бо́льших бед старик присел на плюшевое сиденье. «Металла не люблю...» – бормотал он на разные лады, и в его положении это была естественная реакция на пережитое. Он уже не слышал, как заходили в вагон начальники, как приводили под конвоем обожженного и напрасно арестованного машиниста, как дал ему стакан водки и яблоко Курилов и как в сопровождении той же охраны ушел начальник дистанции. Когда, перед рассветом, Курилов зашел в купе, старик спал.

Седой и не очень жалкий, он спал сидя. Щеки его, с младенчески розовой кожей, лежали складочками на грубом воротнике плаща. Он напоминал что-то ботаническое, бестелесное, из семейства тайнобрачных, и в каких-то поворотах, наверно, даже просвечивал насквозь. Представлялось сущим издевательством всадить это хрупкое растение в брезентовый, на кокосовых пуговицах, балахон.

Он вскочил и, оглядевшись, мгновенно припомнил все события протекших суток. Брови его нахмурились; он склонил голову набочок, прислушиваясь. Под ногами глухо гудели моторы.

– Что это, мы едем? – высокомерно удивился он.

– Сидите, сидите... – ободрил его Курилов. – Мы трогаемся через две минуты.

Гражданин Похвиснев прищурил глаза, и нижняя губка его отпала вниз от негодования:

– Вы, кажется, решили захватить меня, э, с собой... как трофей ваших преуспеваний?

– Но вы же сами просили меня довести вас до Черемшанска!..

– Простите, вы не давали мне досказать... Вы даже пригрозили скрутить мне руки! Я имел в виду выразить вам протест по поводу порядков на вашей дороге. Э, ваши пассажиры приезжают домой далеко не в полном виде... Э, их доставляют по частям! Это и называется

мокрое дело. Но **там** сперва убивают, а потом берут деньги, а у вас наоборот! – Он схватился за шляпу и сделал паузу, чтобы сарказм его проник до самых недр ошеломленного начальника. – Нет, я не могу... я не рискую продолжать с вами путешествие. Когда-нибудь попозже, в урне... э, с удовольствием. Ну-ка пропустите меня!..

И, как-то по-якобински, ядовито и набекрень нахлобучив шляпу, он прошел мимо Курилова. Тому оставалось только посторониться. Хлопнула наружная дверь. Курилов бросился к заднему окну и поднял шторку. Светало. Небо подчистили и подмели. Звезды гасли; заглывало их зеленоватое безветренное утро. Мятое, неспавшееся облако подымалось на восходе. На рельсах лежал иней... Путаясь в полах своего брезента, старик уходил по шпалам. Время от времени он обеими руками поправлял шляпу, чтобы не свалилась. Походка его была почти величава. Вероятно, он подозревал, что сзади наблюдают за ним. Узелка при нем не было.

– Вот гусак, – усмехнулся сам себе Курилов. – Занозистый какой...

У окна он задержался до первого солнечного луча. Осень выдалась в том году рыжая и неистовая. Местность была красива.

Курилов и его спутники в жизни

Алексей Никитич вообще не одобрял железной дороги. Было смешно знать, что весь путь от океана до океана выложен деревянными плахами, а на них нашиты десятиметровые стальные полосы дорогой и вычурной прокатки. Самый паровоз, невыгодная, паразитическая машина, казался ему более острым и метким символом капиталистической системы, чем Марксова водяная мельница. В мыслях он видел эту дорогу иною: ее служащие говорили на десятке непохожих наречий, ее шпалы были из многих и различных сортов дерева, и еще снегоочистители ползали по ее северным путям, когда на южном, конечном ее пункте распускались стройные хамедореи. Курилову всегда хотелось явственно представить себе ту далекую путеводную точку, куда двигалась его партия. Это был единственный способ куриловского отдыха. Разумеется, он мог предаваться фантазиям лишь в тесных пределах книг, на которые удавалось украсть время у сна или работы. И этот воображаемый мир, вполне материальный и соответствующий человеческим потребностям, увенчивался в его догадках пределом знания – неумиранием. Как и большинство его современников, он пугался мысли, что ему не придется держать в руках зрелых плодов дерева, которое вот уже росло, ветвилось и могучими корнями распирало землю. Он не боялся смерти, он только не хотел ее.

Мысли о смерти – это было не куриловского порядка. Солдат, продырявленный столько раз и вдобавок опробованный революцией, он имел право усмехаться над чужими страхами. Тот возраст, когда разум впервые сталкивается с мыслью о неизбежном, застал его на фронте. Ему едва минуло тридцать и только что удалось ускользнуть от полевого суда. Он был молод, драчлив и здоров – условие самое главное для плодотворности такого рода размышлений. Кроме того, вокруг него так много и разнообразно умирали, что притуплялось то недоверчивое удивление, с которого начинается всякое исследование... Однако в последние месяцы ему довелось наблюдать умирание совсем вблизи, и это происходило не посреди истоптанного военного поля, где самый страх гасился неодолимым вихрем гибели и уничтоженья. На этот раз опыт был обставлен с лабораторной тщательностью. Больница предназначалась для ответственных работников. Модернизованные цветочки вроде лакфиоли были нарисованы на матовой охровой панели. По желанию включалось радио, и долгие больничные сумерки насыщались мелодиями, блаженными, как сновидение. Профессора приходили, как маги, рассыпая дары надежд, мудрой горечи или примиренья. Самая смерть в этом убежище несчастных представлялась таинственным медицинским средством, необходимым для последнего исцеления.

Дважды в декаду, вначале даже и чаще, Курилов навещал это место. Стояли две кровати; вторая до самого конца оставалась незанятой. На ближней к окну лежала востроносенькая, никогда ни судьбой, ни мужем не балованная женщина. Она конфузилась перед сиделкой посещений Курилова; больше всего она боялась, что ее заподозрят в чувствительности. И пока он сидел, рассказывая о новостях, ей доступных (никогда во всю совместную жизнь они не узнали так много друг о друге!), она поминутно напоминала ему то о заседании, которого он не вправе был отменить, то высылала покурить на лестницу; трубка была его второй привязанностью. И он шел, солидно поглаживая усы и по-мужски умиляясь щедрости этого дара. Он преувеличивал расточительность Катеринкиной доброты, потому что лишь в этом и мог проявить свое эгоистическое великодушие.

Подробности этого процесса, продленные во времени, представляли как бы под лупой. Уже уйдя с работы, Катеринка отказалась ехать на юг. Все сидела у окна с гитарой, подергивая струну. И крепко вошла в память Курилову эта сухонькая ручка на звонкой деревянной деке... Сюда Курилов перевез жену еще весной, когда чахоточным всегда становится хуже. Шел лед. И Катеринка все просила, чтоб он повез ее в машине поглядеть на эти грязные уплывающие льдины. Они становились все синее (нет – голубее, прозрачнее!), приближаясь к род-

ному морю. Он ее не понял и последнее желание принял за блажь... В каждое посещение он заставлял Катернику иной, чем была прежде. Чужали и западали глаза, углублялась землистая морщинка меж бровей; днем и ночью трудились над этой женщиной непонятные ему силы. И наконец, убавлялось чего-то понемножку в Катеринкиных руках. Он не спрашивал о здоровье, а лишь следил за беспокойным биением ее пальцев... О, в эту пору целую дорогу, с вокзалами, станциями и разъездами, можно было поместить в тесное пространство между ними. Они стояли на разных ее концах, и голос мужа почти не достигал жены. Все тягостнее становилось бывать здесь. Процесс как будто остановился. Казалось, еще немного – и доктора перетянут ее в свою сторону. Курилов стал пропускать дни посещений; он засиживался на работе.

Тогда были хлопотливые дни организации политотдела. Не хватало ни людей, ни необходимых знаний. Еще не умея разобраться толком, в какой логической последовательности железо, уголь, люди и вода образуют этот высший тип инженерного хозяйства, вдобавок раскинутого на тысячу километров, он уже отвечал перед страной за показатели дорожной работы. Не хватало дней, и он тратил ночи, точно владел неисчислимым количеством их... После трехнедельного отсутствия, перед самым выездом на линию, он заехал в больницу. Впервые он приходил сюда в железнодорожной форме. Шитая без примерки суконная гимнастерка сидела на нем мешковато, но – «Какой ты нарядный нынче, весь в черном!» – шепнула Катеринка. Ей захотелось коснуться звездочек на его воротнике, но Курилов сидел неподвижно, напуганный этой непривычной нежностью. Ее рука не дотянулась и упала. Вдруг Катеринка круто откинула голову и спрятала свои виноватые руки под одеяло. «Эх, Алешка, Алешка...» – сказала она еще, но уже так тихо, что он догадался о смысле лишь по движению ее губ. И такая знойная лучезарность была в ее взгляде, что он испытал почти смятение. А он-то полагал, что это происходит незаметно, как неслышно задергивают оконную занавеску, чтобы не будить задремавшего ребенка... Слова эти, самая интонация их, звучали в нем весь вечер, пока сидел в своем политотдельском кабинете. Работа не ладилась.

Он натуго набил трубку, сгрел в портфель бумаги, пересыпанные табаком, и раскрыл окно. Дерево стояло невдалеке, гривастое, в растрескавшихся пробковых доспехах – совсем Руслан, скинувший с себя шлем. На кудрявой лиственной кроне маслянисто лежал лунный свет. Политотдел помещался во втором этаже. Две тени, тесно приникшие одна к другой, несколько утолщали самую тень дерева. Это не были воры, и легко было догадаться, что более тонкая из них принадлежала девушке. Курилову показалось даже, что шел снег: ее плечи побелели. Но это и был лунный свет, милый лунный свет!.. Они шептались – глупые, растерянные слова, при помощи которых влюбленные ощупывают друг друга, как слепцы. И хотя все это были пустяки, недостойные серьезного человека, Курилов бессознательно спрятал трубку в карман (снизу могли заметить ее вспышки) и приник к коробке окна. Дверь в кабинет оставалась незапертой, и он все время думал о ней.

Повесть была в самом начале, они еще не смели обниматься.

– ...Ты боишься?

– Да.

– Меня боишься?

– Себя... нас обоих.

Изредка набегал ветерок, и лунный свет проливался глубже. Толстый сук над головами молодых казался змием библейского сказания. Шепот сливался с шелестом листвы, и самая парочка становилась листком, гонимым неизбежностью через мир. И снова философ с неподкупным и ревнивым лицом цензора прислушивался, как в материи происходит таинственное обращение соков... В этом месте хорошо бы свистнуть, вложив пальцы в рот, что однажды и проделал господь бог. Повторилось бы знаменитое изгнание, погасло бы очарование сада, и не они, а сам Курилов стал бы беднее... Пробуждалось любопытство к чему-то, никогда им

самим не изведанному. С Катеринкой у него всегда были отношения только честной и трезвой дружбы. Тихонько притворив окно, он вышел из комнаты.

Было поздно. За столом Фешкина сидела неизвестная девица. Она листала старые папки и делала выписки на длинную полосу бумаги. Нет, она не походила на того инструктора, что отпраплялся с ним в поездку; у той нос был мясистее и какой-то **тонковатый**. Курилов постоял, покусал губы. Ему пришло в голову, что это и есть новое, социалистическое отношение к труду: никто не заставлял девицу оставаться на работе до ночи. Неожиданно для себя Курилов предложил отвезти ее домой. Она благодарно согласилась. Трамвай уже не ходил, а утром в учрежденье выдавали картошку; не случись Курилова, ей пришлось бы собственными силами волочить мешок к себе на окраину. В машине он спросил ее, не ударница ли. Она застенчиво объяснила, что, работая в пропагандистской группе, скитается из города в город, куда пошлют, разъясняет массам художественную литературу, кино, а также пение. «У меня есть подобранные работы, которые производят колоссальное впечатление на слушателей». Ее огорчало только, что авторские построенья редко сходятся с политической схемой. Она привела в пример Джованьоли, Спартак которого, вождь восстающих рабов, на поверку оказывается князем.

– Жизнь сложнее всяких схем! И посмотрите, какие громадные механизмы созданы природой, чтоб приводить в движение совсем простые вещи, – поучительно заметил Курилов, думая о давешней парочке за окном.

– Я понимаю, что жизнь. Вот от нее-то иногда прямо хоть в бутылку лезь! – с досадой призналась она.

Он улыбался наивности ее сообщений. И хотя своих детей никогда у него не было, детей он любил и с ребятами сходилась быстро. Она осторожно поинтересовалась, не знаком ли он с Джованьоли. При своем высоком положении Курилов мог бы одним духом узнать из первоисточника о замыслах автора. (Ее уважение к начальнику политического отдела дороги достигало уверенности, что все судьбы мира решаются в его служебном кабинете.) Алексей Никитич отвечал, что нет, с Джованьоли он не знаком... Кстати, они приехали. Курилов помог ей взвалить на спину рогожный мешок. Она жила во втором этаже ветхого деревянного строевничка. Больше того, ухаживать так ухаживать, он даже вышел из машины открыть ей парадную дверь. Никогда еще при живой жене он не бывал так любезен с посторонней женщиной. Было тихо, и все еще не без луны. На фоне серенького облачка рисовалась труба какой-то фабрики. Густо пахивало укропом: сразу за домом начинались огороды. Сбросив мешок, девушка объявила, что сейчас позовет соседа по квартире помочь ей. Курилов не возражал, но ему не хотелось уезжать так быстро. Давешние лунные лучи, застрявшие и обломавшиеся в нем, болели, как занозы. Вдруг она спросила тихо: правда ли, что у него умерла жена...

Он поморщился, как подколотый. Вопрос содержал в себе скверное пророчество. Любопытство железнодорожной девицы показалось ему просто наглостью... Ну да, она стремилась в заместительницы и вот украдкой пробовала его ноготком! Он достаточно слышал про эту породу: они быстро постигают несложную науку ездить на казенной машине по всяким распределителям житейских благ, сплетничать и вообще вести интенсивную аристократическую жизнь, как понимают это мещане. Что касается ее ребячливости, то не слишком ли много пышного тела было на ней для одного ребенка? Кстати (позвольте, позвольте!) он припомнил, что зовут девицу – Марина Сабельникова (он еще в прошлый раз решил, что или солдат, или оружейный мастер был в роду!), что два месяца назад ее собирались послать на работу в депо, под Пензу, но сперва она отпросилась в отпуск, а потом так и прижилась при дирекции... Словом, пока доехал до дому, он придумал десятки способов избавиться от наважденья. Вылезая из машины, он так решительно произнес: «В Пензу, в Пензу ее!» – что шофер даже переспросил о значении такого небывалого адреса. (В отношении безыменной парочки на пустыре он

решил дать нагоняй коменданту, по нерадивости которого двор государственного учреждения превращался в сад свиданий.)

Ничем, кроме простуды, Курилов никогда не болел; ранения не шли в счет. По замечанию ближайшего друга, Сашки Тютчева, Алексей Никитич вполне годился бы вертеть чигирь в среднеазиатской пустыне. Болезненной и тихой Катеринки всегда ему было мало. Самое начало их супружества обошлось без любовной игры, без шалостей и излишеств, но зато и без той греховной силы, что доставляет первобытную сытость душе. Впрочем, со временем он свыкся со своим полуголодным любовным пайком, старался щадить самолюбие жены и лишь с недавнего времени стал примечать, что запоминает всех молодых женщин, попадающихся по дороге. Уже через день выяснилось, что мысль о Марине ему приятна. Кстати, еще раньше довелось где-то прочесть, что женщины, сами добывающие свой хлеб, уважают время любовника и не требуют особых усилий. О, Катеринка не осудила бы, если бы эта миловидная, с круглым лицом, простоватая девушка, придя к нему, раз в декаду, ушла бы немножко позже обычного, чуть вялая и с глазами, обращенными в себя. И опять он великодушно предоставлял Катеринке право на эту якобы материнскую щедрость. Все обстоятельства к тому и шли. Однажды девица Сабельникова робко пришла к нему за материалами для его биографии: ей поручили составить ряд поучительных жизнеописаний виднейших работников транспорта, и Курилов находился одним из первых в ее списке.

В самом разгаре стояло лето. В обширной каменной площади-плошке за окном, жаркий и пыльный, остывал вечер. Слабым ветеркам с реки было не под силу расплескать эту гнетущую духоту. Курилов покраснел, когда она вошла. «Сбывалось, сбывалось...» Марина бесшумно прошла по квартире; количество книг удивило ее. Стоя перед шкафом, она читала вслух заглавия на корешках. «Вот **здорово**, все о войне, о городах, о Дальнем Востоке...» Напуганная своим невежеством, она схватилась за портфель. Едва написав десяток строк, из которых половина выражала лишь степень ее смущенья, она поймала на себе пристальный, прищуренный взгляд Курилова, вскочила со стула, и листки с шуршаньем разлетелись с ее колен. Это запоздалое происшествие отрезвило его. Уже с закрытыми глазами он сидел на диване, вслепую набивая в трубку табак.

Только на одно мгновение он увидел ее глазами любовника, и хотя ни разу не испытывал, как начинается **это** (и даже всегда удивлялся изобретательности влюбленных, заполняющих чем-то промежуток между обручением и брачной ночью!), он уже знал все наперед. Наверно, Марина будет покорна и трогательна. У нее не будет торжествующих глаз победительницы. Она не спросит его ни о завтрашнем дне, ни о чем. Конечно, она станет стыдиться своего дешевого постиранного белья и голубой майки поверх тела... Он помнил, что никого, кроме них, нет в квартире, и все-таки испытал мучительную потребность запереть дверь в пустую комнату Катеринки... Медленно, как во сне, Марина проходила по комнате. Осиротевшая Катеринкина гитара попала ей на глаза. Мимходом и резко она дернула квинту. Звук заставил Курилова поморщиться, как несвоевременное напоминание о забытой жене.

Он глухо позвал Марину по имени; она отрицательно покачала головой:

– Я не хочу, чтоб вы раскаивались, Курилов.

Она стояла у окна, царапая истрескавшуюся шпаклевку подоконника. Бездонный провал в целых двенадцать этажей простирался под нею; Курилов жил высоко. Желтая одинокая звезда всходила над Воробьевыми горами. Для Курилова, оставшегося на диване, она висела как бы над самым теменем Марины.

– Вы не заметили, **сколько** сегодня жары? – спросил он в оправданье себе.

Она сказала тихо:

– Днем в тени было двадцать два. – И вдруг: – Скажите, ваша жена **была** красивая?

И теперь его уже не возмутило, что о живой Катеринке говорят в прошлом времени.

– Она была добрая.

- У вас нет ее фотографии?
- Она не любила сниматься.
- Тогда опишите мне ее!

Все это было не очень понятно, но сейчас он уважал Марину именно за то, чего не понимал в ней. Он подчинился самой властности ее приказа.

– Она была очень честная к людям и всех считала лучше себя. Она была простая работница. В годы тюрьмы она много сделала для меня и товарищей. Все, кто знал ее, называли ее просто Катеринкой...

Марина склонила голову, как это делают в память мертвых. Ветерок из окна шевелил прядку волос над ее маленьким пылающим ухом. Курилов застегнул ворот гимнастерки. Оцепенение проходило, жара спадала. И вдруг он разглядел все в Марине: и ее розоватые локти, почему-то испачканные чернилами, и ее сбитые, на стоптанных каблуках туфли. И хотя рядом, в гардеробном ящике, находилась вся неношенная Катеринина обувь и, по его мнению, не было дурного в том, чтобы Марина выбрала себе лучшую пару, он не посмел предложить ей это. Больше того, он решил, что слишком сурово встретил свою простодушную гостью. Представлялось, что уж чаем-то ее напоить – совершенно необходимая вежливость. И пока возился на кухне, разжигая газ, Марина неслышно ушла. Решив, что она спряталась, он искал ее всюду и сердился, что его на старости лет заставляют играть в прятки... Час спустя он еще думал о ней. Ночью ему не хватало Марины. Утром выяснилось, что его пугала мысль утратить ее навсегда. Такие, как он, достаточно постоянны в своих привязанностях. Квартира ему казалась огромной и неудобной с тех пор, как увезли Катеринку; с уходом Марины она стала нежилой.

Здесь, на закате, у подобных Курилову всегда случается смятение, толчея чувств, сердечная путаница, недоступная разве только памятникам да дуракам. Тютчев как-то раз сболтнул ему, что именно с этого биологического распутья между старостью и женщиной и виден бывает заключительный рубеж. Неверно!.. Не смерти он боялся, а умирания: утратить возможность влиять на мир, стать в потеху врагу, в жалость и тягость другу! Его выводы отличались поспешностью и чрезмерной упрощенностью. У людей там, внизу, в чернорабочих ходовых частях социальной машины, никогда не образуются эти поганые – накипь сидячей жизни и ржавчина. В такие минуты с восхищением и завистью он вспоминал бывшего учителя и друга, литейщика Ефима Демина. Когда-то, на заре большой жизни, он посвящал Алешку в высокие тайны формовочного искусства. Позже Курилов постиг удивительные заколы движения идей, товаров, масс; узнал, кто такой Шекспир и откуда началась собственность на земле, но так и не выучил всех секретов Ефима Арсентьевича. Демин был на тринадцать лет старше. Уже он перескочил рубежи куриловских сомнений. Он ходил теперь в хорошем пиджаке и с палочкой. В дни больших технических побед о нем напоминали в газетах наравне с героями ударной стройки. Каждое лето завод отправлял его ремонтироваться в Кисловодск.

Еще год назад он сидел у Курилова за столом; Катеринка потчевала его семгой, Посещение пришлось в выходной день. Старик выпил, разгорячился и цвел линиями стариковскими радугами. Во хмелю он бывал обидчив и честолюбив благородным честолюбием труженика, горбом зарабатывающего право на почесть. «Такой я теперь человек, что все меня знают. Третьевось в “Правду” пришел, а и там знают». Волнуясь и заново переживая, хвастаясь удачами и риском, он повествовал, как начинал свою бедную юность на Балтийском заводе (о-отличный завод!), по четвертаку в день, как скитался в жизни и даже заходил к одному святой жизни старцу (и старец, хе-хе, повелел мне заняться торговлей!), как ставил впоследствии литье на Мотовилихе, когда Колчак увел с собой литейных мастеров; как отливал на «Путилове» первый в Союзе волховский ротор, а в Колпине знаменитые ахтерштевни для лесовозов, рулевые рамы, гребные винты для морских судов. Разумные стальные детки, созданные его рукою, жили и двигались самостоятельно на всех морях и дорогах страны... Ему вполне нравились жизнь и Москва в целом, и вид из окна, и советская власть (о-отличная власть, надо сказать!), и то

ему нравилось, что для него одного поставлено столько еды и вина, а Катеринка оделась для него в новую вязаную кофту, а Курилов (бывший хоть и неспособным в учении!), питомец его, запросто заседает с наркомами. Его рассуждения были немножко крикливы, он размахивал руками, грозил кому-то (самому себе!) бросить все и разводиться дроздов, едва ему стукнет шестьдесят пять. Успокоился он не прежде, чем опрокинул стакан... Курилов щурился на него, дымил трубкой и думал, что, наверно, при социализме будут жить только вот такие мастера, влюбленные в свое искусство, их подмастерья и ученики. И еще подумал про себя, что, хоть и высоко поднялся по общественной лестнице, никогда не испытает простецкого деминского удовлетворения, происходящего от близости к самому горну жизни.

– Бери меня назад, в учебу, – пошутил Алексей Никитич, рассматривая свои руки, давно утратившие чернорабочую грубость.

Арсентьич засмеялся, поперхнулся, закашлялся; синие жилки налились на висках.

– Что, аль тесен стал сановнику государственный камзол? – При случае он бывал ядовит на словцо. – Понимаю тебя, ты делаешь вещи **долгие**, а я **короткие**, так, что ли?

– Ну, и твои – долгие. Вот, скажем, сахар, что держишь в руках, – продолжал Курилов. – Простая вещь, сладкая, распилена на кубики. А надо посадить, пропахать, полить, прополоть, наверно – окучить, собрать, промыть, сварить его... Да еще вправить его в поток всего мирового хозяйства!

Арсентьич все еще улыбался, но теперь чужой, суровый старик сидел перед Куриловым.

– А ты избери работу полегше. Например, пальто стеречь. О-отличная работа! Оно, скажем, висит, на хорьке, а ты сидишь супротив и со вниманием и лаской наблюдаешь его. И очень хорошо вам обоим. – Так бранился он долго и, наконец, сжался над смущенным учеником, побавил яду: – Выпей, Алексей, в твои годы не опасно. Мало пешком по жизни ходишь. – И тут же стал рассказывать про блюминг, заказанный его заводу.

Должно быть, это было самое торжественное слово его заката. Повесть была длинная, с отступлениями, неминуемыми при взволнованности: как рыли яму под бетонный кессон, как наткнулись на подпочвенные воды, как дрался с каменщиками, когда дренажный отвод они соорудили из кирпичной щебенки, и, в заключение, какое они, мастера, испытали сердцебие-нье, когда многоручейная лава хлынула из ковша. Через месяц предполагалось литье второй станины.

– Таки костры возжем – подпалим серенько уральско небо! – Азартные руки его дрожали, как у игрока, а Курилов слушал жадно: бесстрашие так же заразительно, как и страх.

Учеба не состоялась. Все обернулось по-иному: случилась ответственная командировка, потом заболела жена, потом опубликовали постановление о политотделах на транспорте. Новое назначение оказалось лучшим лекарством от сомнений. Дорога была из самых длинных, самых важных, самых худших в стране. Строенная по частям, группами предприимчивых коммерсантов для обслуживания ближайших российских провинций, она всегда еле справлялась со своим грузооборотом. Состояние пути, паровозного и вагонного парков, дисциплины и подготовки кадров ухудшалось с каждым годом. Дорога прославилась классическими катастрофами; она содержала неистощимый материал для острословия, и утверждали, что по ней ездили преимущественно простаки.

Хозяйство куриловское становилось огромно; сюда входили заводы, депо, сотни станций; все остальное исчислялось в цифрах со многими нулями. С политической и экономической точки зрения линия продолжалась много дальше, и Алексею Никитичу всегда хотелось побывать на ее истинном конечном пункте. Он никогда не пользовался отпуском и перед выездом сумел договориться, где полагается, относительно месячного своего отсутствия. Словом, на этот раз давнее куриловское желание побывать на Океане как будто начинало сбываться.

Он едет на океан

Его мечта свойственна была, наверно, всякому сухопутному человеку. Эта царапина на душе сохранилась еще с детства, от одной по складам прочитанной книжки. Ее написал совсем неумелый человек, и потому его взволнованной искренности не пожрали требования высокого искусства. Книга посвящалась разным морям на земле. Вперемежку с текстом раскиданы были рисунки – то парусника с загадочным и манящим названием, то молоденького юнги, что покачивался на рее над излучиной волны, то забулдыги боцмана; он скалил зубы, истертые о трубку, и звал людей испробовать от его скитальческой судьбы. И даже обложка книжки была пронзительно-синяя... Мальчишку захватили эти строки, хоть и не понимал полностью очарования вольных океанских сокровищ, не принадлежащих никому. Он прочел их не разумом, а сердцем. Так и осталось это на нем, как шрам, как памятная зарубка... Стоило пристальнее взглянуть в эволюцию ребяческого влечения, чтоб постигнуть все остальное в Курилове. (Так в окаменелом куске янтаря, по волокнам плененного растенья, по пузырькам первородного воздуха, по чередованиям золотистых слоев читается повесть о чудесной юности мира.)

Мальчику взмечталось стать моряком. Он и во снах видел круглые синие просторы, неопишуемые города на их побережьях, крылатые посудины в заливах. В дождливую пору разливался ручей под городком, где вырос Курилов; на нем-то и устраивали слободские ребята примерные сражения самодельных эскадр; бессменным адмиралом и корабельным мастером бывал у них Лешка Курилов. Но сезон, наиболее благоприятный для посещения первозданной родины мира, как таинственно и неохватно сказано было в книжке про Океан, миновал. Куриловская весна проскочила, как нахлестанная. Отец выписал его к себе в столицу. Мастер показал мальчику тиски и ящик с инструментами. Выдали табельный номер и научили, как опиливать головки прижимных винтов. Впервые Алексей заработал себе сапоги. Мечтание не возвращалось... В полном разгаре стояло лето жизни, когда снова вспомнилось об Океане. Воспоминание застигло его на телеге. Днище ее было застлано жаркой соломенной трухой. Армия отступала, по арьергардам лупили немецкие дальнобойки, раненых везли в тыл. Стоял июль. Солнце добивало недобитых. Где-то на полпути Курилова положили в доме ксендза. Скрипели колеса за окнами и пели уцелевшие петухи. На тесовом потолке билось смятенное стрелчатое отраженье лужи. Мечта приступила внезапная, встрепанная, истерзанная бредом. Поднималась и падала прозрачная волна; он сам был на ее гребне. Потом затихала острая, такая **прямая** боль в груди, и ощущением зрелой океанской тишины наливалось обессиленное тело.

Со временем наглухо зарубцевалась царапина детства. Самое понятие об Океане как о вольном множестве вод распалось. В жизни вода пребывала в самом низшем своем качестве: ее наливали в ванну, в тендерную коробку паровоза, в стакан с лимоном; иногда также она неопрятно падала из тучи. Вдруг он снова заболел Океаном. Случилось это на совещании по топливу – Курилов был тогда председателем облисполкома. Недогрузка угля и нефти совпала с прорывом по торфу и дровам; заводы целой области сбивались с плана. Ломило голову после ночи, потраченной на подготовку к докладу. Сараистой этой комнаты не проветривали никогда. Все в ней, даже чернила, пропиталось вонью стоялого табака. Курилов вел заседание, открыл окно. Мокрый океанский сквозняк ворвался сюда с разбегу. Завихрились занавески, по-птичьи затрепетали ожившие бумаги, где-то хлопнула с дребезгом стеклянная дверь, курьерши помчались по коридорам. Капли дождя упали на картонные папки, оставляя пухлые желтые кружки... Океан был осенний, тревожный, он старел. Срывало корабли с причалов; все доступное глазу двигалось: в зеленоватых распадах волн не успевали отражаться дымчатые бегучие облака. Оппонент демонстративно поднял воротник пиджака, четыре фурии ворвались в разные двери, Океан закрыли.

Вот в последний раз представлялась возможность побывать на его берегу. В вагоне Курилова висела карта страны. Он следил по ней за ходом моторисы... Вагон успел пройти две трети Волго-Ревизанской, когда Алексея Никитича нагнало сообщение из Москвы. Катеринке было плохо. Телеграмма была подписана сестрою. Курилов побаивался этой знаменитой старухи. Суховатая, своенравная, прямая, она не терпела возражений. Эта женщина не имела личной биографии; отдельные этапы ее обозначались общественными и партийными датами. И если Клавдия любила кого-нибудь из живых, то одну лишь Катеринку.

Телеграмму принесли на разъезде, когда Алексей Никитич вышел посмотреть, как тут, в глуши, делается жизнь. Пыхтела местная лесопильная установка. Наливная рябая девка в белой мордовской рубахе несла две доски на плече; они плясали и прогибались в такт ее шагу. Кроме того, беременная женщина развешивала белье на плетне, и посвистывали какие-то соответственные сезону птицы. Курилов спрятал бумагу в карман и, горбясь, вернулся в вагон.

Не задерживаясь нигде, наводя трепет на районных диспетчеров, моториса мчалась назад. Линялые чувашские леса провожали ее бегство. Куриловский Океан снова оставался позади. Телеграмма пришла по дорожному селектору, и на станциях уже были осведомлены о переменах в семейном положении начподора. Начальники находились на своих местах; они прикладывали руки к козырькам, когда стремительный, с приспущенными шторками, вагон ракетно проносился мимо. Дверь к Алексею Никитичу была закрыта. Транспортные сутки начинались в восемнадцать часов. В середине двадцать первого сюда с пачкой телеграмм входил старший ревизор движения. Он просил разрешения доложить предварительную сводку работы.

– Сколько погрузка?

– Две тысячи семьсот. – И смотрел, как в узкой щели под шторкой мчится осенняя горелая лента насыпи.

– Плохо. Прием с других дорог?

– Четыре тысячи триста. Сдано пять тысяч ровно, Алексей Никитич.

– Ладно. – Он становился совсем путейцем; неудачи соседей помогали ему привести в порядок свой собственный вагонный парк. – Почему мы идем так плохо?

– Мы не плохо идем, товарищ начальник. Подстегнуть – не останется от нас ни рожков, ни ножков... – Ревизор был из бывших машинистов.

– В былое время я делал в этом вагоне больше. Позовите секретаря.

Фешкин выростал в двери, пряча в рукав папиросу.

– Запишите, Фешкин. Выяснить, с какого времени на шестом участке работает обходчиком Хожаткин. И еще: вызвать ко мне в Москву Протоклитова, начальника черемшанского депо. Попутно наведите о нем справки где следует... записали? Принесите пачку табаку со стола.

Так он сидел взаперти, глядя в точку перед собою. Газетные сообщения старели с каждым километром пути. Книг не было. У Фешкина отыскался Дюма, но Курилову было не до мушкетеров. Проводник нашел за креслом узелок в наволочке: багаж гражданина Похвиснева завалился туда в суматохе. Сутки находка валялась перед Куриловым, дразня его грязноватой оберткой. Случайно он прощупал там полотенце, мыльницу и книги. Он обрадовался: книги – как колодцы в пустыне, они принадлежат всем!.. Верхняя, самая толстая, оказалась историей религий. Со скуки Курилов полистал ее. Полтысячи по-немецки добросовестных страниц сопровождалась картинками. Это был наиболее полный каталог богов, с указанием родословной, возраста и даты гибели каждого. Выяснялось, что агонии их длились столетиями. Можно было проследить, как медленно спадала с человека первородная шерсть, как пытался он охватить природу своими неумелыми руками, как трудно поднимался с четверенок будущий хозяин земли. Все это были автопортреты давно исчезнувших народов. Боги были сделаны из страха, ненависти, лести и отчаянья; материал определял лицо бога. Там были крылатые, с неистовым оком в затылке, чтобы человек не напал сзади; в подобии равнодушной женщины, украшенной

панцирем из грудей; в виде мохнатой ноздри, вдыхающей жертвенный дым, или, напротив, в образе мглистой сферы, полной скошенных в непрерывном движении глаз; боги тридцатирукые, по числу человеческих ремесел, песиглавцы, быки, циклопы, слоны со священным пятном на лбу (и занятно проследить, во что отложился и сформировался на протяжении нескольких месяцев этот образ в сознании Курилова), волчицы, змееглавые тетрахионы, колючие африканские эвфорбии с ядовитым млечным соком и, наконец, просто незамысловатые чурбачки; жертвенной кровью были нарисованы на них щелеватые остяцкие глаза и жадный рот, достаточный поглотить самого себя.

В былое время Курилов неоднократно на больших армейских митингах путем обычного голосования выяснял вопрос: есть бог или нет? Осложнений, как и оппонентов, никогда не случалось. В те годы солдат Курилов не предполагал, что религия может стать предметом серьезных научных исследований. Правда, его всегда удивляло, почему голод и чума варвар неизменно почитал за даяния божества, а дьяволу приписывал компас, медицину и типографский станок; почему в честь юродивых воздвигались храмы и учреждались ордена, а гениев своих человечество сажало поглубже в землю и жгло на кострах; почему Джордано Бруно был объявлен циником, а Эванс – сумасшедшим, Соломон де Ко заперт в сумасшедший дом, а Симпсон, применивший хлороформ при родах, и Дженнер, введший оспопрививание, объявлены слугами дьявола. Должно быть, всегда владела человеком темная и жадная надежда выиграть истину через интуицию, кратчайшим путем. Вдруг Алексею Никитичу представилось, что когда-нибудь в эту книгу войдут страницы, написанные о нем самом. Он усмехнулся, ему стало интересно, он листал дальше.

За мрачной ночью человечества пришла Эллада. Со страниц книги поднялось солнце. Прежде чем научиться думать, люди учились улыбаться. Курилова вдоволь потешили картинки эллинской космогонии. В лавровых рощах резвились розовопятые богини; на высокой центральной горе пировали с выдвигенцами и родственниками здоровенные мужики, Гомеровы игрушки, боги-выпивохи, боги-жулики и военного звания боги. С наивной и беспечной точностью была разграфлена вселенная, и только Харон, перевозчик на иной, безветренный берег, омрачал веселое повествование об Элладе. От румяного животного хаоса отслоилось первое грустное познание самого себя. Познав улыбку, люди научились пугаться ее утраты. Незнакомый с бытовым строением древности, Курилов представил себе Харона на русский образец. С круглым щербатым лицом, в солдатских обмотках, Харон сидел на корме дырявой ладьи, подстелив под себя рядно, скручивал махорочную ножку и вонял; облезлая армейская манерка – вычерпывать, что натечет из щелей, – валялась у него в ногах. Курилов захлопнул книгу и, как был, в шлепанцах и без гимнастерки, стучаясь о стены, отправился пить боржом.

Темный чад образа преследовал его до ночи. Что ж, такой аккомпанемент соответствовал цели поездки. По существу, Курилов возвращался на похороны. Он торопился отдать последний поклон человеку, с которым прожил двадцать три честных, ничем не возмущенных года. Эта женщина дружески заботилась о нем, это была его последняя **хорошая** женщина. Нетрудно было вообразить, как вслед за длинным ящиком пойдут они вместе с Клавдией; она еще жестче сомкнет губы и ни слова не промолвит ни о чем. За тридцать с лишком лет подпольной работы она хоронила и не такое! Садный гриппозный ветерок понесет им в лицо бумажки и пыль... Он позвонил сестре еще с вокзала. Бранливым голосом она упрекнула его за опоздание. Катеринку сожгли накануне. Подробности были обычные. Кроме того, у Клавдии шло заседание; она положила трубку. Оба знали, впрочем, что в тот же день встретятся в столовой партийного комитета.

Она присела к его столику просто, точно виделись еще вчера. Пахло едой, все спешили. И опять Клавдия не сообщала ничего о последних днях Катеринки. Молча они хлебали борщ. Дальше их меню раздвоилось; сестре запрещено было мясо. Курилов изредка взглядывал на Клавдию, на ее сухие, по-птичьи тонкие, точные в движениях руки, на ее волосы, стянутые в

тугой и маленький, как, бывало, у земских учительниц, пучок. Она не стригла волос, чтобы не следовать моде; вместе с тем она укладывала их так плотно, как будто боялась, что в ней заподозрят женщину. Тютчев был несправедливо зол, утверждая, что она напоминала Фукье-Тенвиля. Возможно, острослов имел в виду желчную и резкую прямоу знаменитого прокурора, но не желтое, кабинетное его лицо. Обращала на себя внимание моложавая свежесть впалых старухиных щек.

– Что всматриваешься, приглянулась?

– Как мало меняешься ты, сестра. Ты как русская баба. Они бывают только трех возрастов: десяти, двадцати трех и пятидесяти лет. И перемена происходит сразу, в один день. – Он заметил ее иронический взгляд и каким-то сложным путем перекинулся на другое. – У меня были занятные встречи в эту поездку.

Она подняла глаза и ждала.

– Во-первых, я отыскал Протоклитова... кажется, сына того генерала, который, помнишь, в разное время судил нас обоих.

– Председателя судебной палаты? – Она не удивилась: борьба в стране еще не была закончена. Лицо ее осталось равнодушным. И не то чтоб примирилась, но просто мстить отпрыску врага за преступления целой политической системы не пришло ей в голову. – Ну, и что он?

– Он у меня в депо. По всей видимости, неплохой работник. На чем-нибудь сорвется, конечно... Буду с ним говорить на днях. Любопытно, сохранились ли у сына длинные желтые отцовские зубы.

– О, зубы Протоклитова! – И жесткая улыбка шевельнула рот Клавдии.

Алексей Никитич долго смотрел на котлету, точно не понимая ее назначения.

– Потом Омеличева встретил. Он обходчик на путях... назвался другой фамилией: тоже новая жизнь! Мужик прокис, но рана еще гноится. Кстати, ты не получила писем от Ефросиньи?

– С чего она станет писать мне?

– Все-таки сестра...

– Не дразни меня, Алексей. – И заговорила не прежде, чем допила свой кисель. – Что же ты о **ней** ничего не спросишь?

– Все понятно, Клаша. Мне жаль Катеринки.

Прищурился, сестра смотрела куда-то мимо Курилова.

– Жаловалась накануне, что так и не показал ты ей ледохода...

Она попросила довести ее. Собственный ее старинной системы автошарабан не выходил из ремонта. Они пошли к выходу. Толстяк в чесуче, хохотавший с приятелем, значительно поубавил веселья – Клавдия не терпела любителей советского анекдота. Официантка почтительно посторонилась в дверях. Не видные под длинной юбкой, чуть поскрипывали на старухе башмаки. В машине она сказала в пространство перед собою:

– ...Будешь жениться?

Нет, у него просто не было времени подумать об этом!

Она пояснила:

– Вам не сидится в этом возрасте.

– Я так полагаю, что для Катеринки это теперь безразлично, а?

Сестра не любила, когда против нее употребляли ее же оружие.

– Лицо у тебя нехорошее. Устал?

Нет, не усталость! Но вот навалился урожай, а дорога не успевает оборачивать порожняк. За десять последних суток набралось двести шестьдесят случаев несвоевременной подачи паровозов. Из пятисот вагонов, пригнанных в Улган-Урман под хлеб, шестьдесят два процента без крыш, а в двадцати на вершок угольной пыли. Машины по выходе из ремонта имеют до семидесяти дефектов. У директора паровозоремонтного завода татуировка на руке в виде дву-

главого орла... «С некоторого времени поезда ходят по моим собственным нервам». Но все это вышло бы слишком длинно в перечислении. И он сказал только, что схватил простуду, наказанный за ребячество прокатиться на площадке паровоза.

– Надо беречься. У тебя и пальто холодное, – упрекнула Клавдия.

– Ничего, у меня пуговицы на меху.

Она поняла его шутку так, как ей хотелось.

– Ну, рада за тебя. Ты хорошо держишься. – И, не дожидаясь подтверждения, захлопнула за собою дверцу авто.

Жмурки

Куриловы жили уединенно – друзей они не видали подолгу. Все это были люди, раскиданные по периферии: Курилова чуть не ежегодно перебрасывали с места на место. Два больших кольца сделал он вокруг столицы, прежде чем получил свое последнее назначение. Как и большинство куриловских современников, друзья узнавали новости друг о друге единственно из газет. Одно значительное и постороннее обстоятельство заставило их в эту пору съехаться в Москву. Тотчас по возвращении Алексея Никитича они наперебой звонили ему на службу. Они торопились услышать его голос, не убавилось ли в нем бодрости после Катеринкиной смерти. Впрочем, никто не спрашивал ни о чем, а Курилов избегал отвечать на незадаанные вопросы. Самых близких приятелей он спрашивал на один из ближайших выходных дней. Пускай, пускай пошумят они в его огромном опустелом доме!

Ничего не изменилось там, но самое эхо комнат стало иное. К пустоте в квартире он привык и раньше, но теперь еще не изведанная пустота прошла совсем рядом. И хотя, уходя из жизни, Катеринка не оставила следов по себе, как в зеркале, куда так часто и испытующе гляделась в начале болезни (и всегда муж посмеивался: вдруг стала заботиться о красоте), все здесь напоминало о ней. По существу, ему нечего было делать дома, но в служебном кабинете не на чем было спать. Он возвращался сюда только ради кровати. По счастью, он никогда не страдал бессонницей.

За этот срок образ покойницы как бы тинкой заволокло. И только один человек дальними, окольными путями напомнил ему о Катернике. Однажды он вошел к Курилову без доклада и чумазыми кулаками оперся в стол.

– Моя фамилия Протоклитов. Вы вызывали меня, начальник.

– И даже дважды!.. У меня создалось впечатление, что вы избегаете меня.

– Это неверно, незачем! Я вернулся в Сакониху час спустя после вашего отъезда, – с достоинством и без подобострастия объяснил он. – Я слушаю вас, начальник.

– Садитесь, я сейчас освобожусь, – не подымая головы и посасывая потухшую трубку, бросил Курилов.

Перед ним лежал финансовый план дороги, поставленный на вечернее обсуждение в наркомате. Такого рода заседания бывали в особенности боевыми. Дорога давала дефицит. Курилов просматривал листы в последний раз, ставя на полях отметки цветным карандашом. Вниманье его раздвоилось. Он услышал чирканье спички и вслед за тем ощутил дым дурного табака. И тотчас же крупным планом увидел перед собою полыхающую спичку. Сперва он не понял даже, что ему давали прикуривать. Спичка догорала. Черный, вроде спорыньи, рожок угля гнулся в сторону; пламя лизало протоклитовские пальцы, но они оставались неподвижны. В складках кожи чернела застарелая паровозная копоть.

– Мерси, – сказал Курилов. – А то у меня всегда воруют спички.

Он поднял голову.

В сереньком свете осеннего денька он смог разглядеть этого человека лишь поверхностно. Протоклитову вряд ли было больше тридцати девяти. Для своего роста он был неплохо сделан. Широкая грудь в клетчатой спортивной рубашке нависала над столом, как угроза. Две глубоких морщины, похожих на надрезы, пересекали его лоб, невысокий, очень впалый на висках и выпуклый в надбровьях; третья, более короткая, обозначала рот. И рта было ровно столько, чтобы говорить мало слов и просунуть пищу. Спокойная, расчетливая воля светилась в глазах. Этот человек был бы хорошим летчиком, недурным шахматистом, умным собеседником. С таким не бывает случайностей в жизни. Игра, которую он вел, была огромна.

Курилов знал о нем мало. Вскоре после декрета о политотделах на транспорте Протоклитов подал заявление об уходе с дороги. В его расчеты, наверно, не входило, что оно попадет

в руки начподора, как высшей партийной инстанции на дороге. Столкновение стало неминуемым. Этот человек принял вызов.

– Итак, я прочел вашу просьбу, – начал Курилов и откинулся на спинку кресла. – Имеете намерение уходить с транспорта?

– Да, у меня есть причины.

– Они секретны?

Тот удивленно приподнял бровь.

– Я ответил бы на это как следует, если бы вы не были начальником. Я партиец. – Он откинул куда-то во впадину виска острую прядь темных волос. – Действительно, я хотел переменить профессию. У меня есть способность к изобретательству. Я собирался подучиться и заняться этим делом вплотную.

Энергично, наотмашь, Курилов смахивал со стола рассыпанные крошки табака.

– Вам везет, – оказал он мягко. – Транспорт наш как раз такая область, где вы с успехом сможете применить ваши способности.

– Я предполагал, что человек вашего положения смотрит на это дело шире.

– Нет, мне нечем похвастаться в этом смысле. Время тревожное. Оборот вагона достиг шести суток, и вот, – он хлопнул ладонью по докладу, – мы выходим из драки с годовым убытком в одиннадцать миллионов. Морально мы с вами отвечаем за это поровну. Не огорчайтесь, вы еще молоды, и у вас есть время показать себя на транспорте! – По-видимому, Курилов не желал выпускать Протоклитова из пределов наблюдения своего и власти.

Начальник депо сдвинул папироску между пальцев; осыпались искринки. Он стряхнул их с колен и поднялся.

– Жаль. По существу дела, вы правы, товарищ начальник! – И взялся за шапку.

Он носил кубанку с кожаным донцем, она ему шла.

– Погодите, я еще не кончил, – на полпути остановил его Курилов и выждал, пока тот снова не занял прежнего места. – Мне хотелось ближе познакомиться с вами. Странно, что, будучи партийцем, вы так легко смотрите на эти вещи: уйти, остаться. К слову, вы давно в партии?

– Шесть лет.

– Все время в депо?

– Нет, три года ездил машинистом, потом работал инструктором-механиком. В депо я пришел полтора года назад.

– Вас не любят в депо.

– Да, меня боятся, – холодно и кратко согласился Протоклитов. – Я командир, и дело наше почти военное: дорога на восток. Люди несговорчивы. На протяжении истории сколько их резали, жгли, топили, и как туго они всегда подавались вперед! Людишки любят, чтобы им приказывали. А можно было бы втрое быстрее вести дело. Люди – мозгляки, они не умеют даже голодать...

– Вам не следует говорить таких слов. Кроме того, это и необязательно для них!

– Конечно. Я и сам сработан из того же теста...

– Вы недовольны и собою?

Тот имел право не поддерживать беседы такого свойства, Курилов дружественно кивнул ему:

– Скажите, вы сами не с Алтая? – Вопрос был ложный, он сбивал с толку.

– Нет.

– ...и не с Камы?

– Это не совсем соседние области, товарищ начальник. Я вижу хитрость и не могу понять, зачем она так неуклюжа. Нет, я волжанин.

Его ответы заслуживали похвалы за сухую и ясную точность. Чужаки, которых и раньше приходилось разоблачать Курилову, были покустарнее... Устроили небольшую передышку. Беседа пошла о работе депо. Показатели по ремонту, промывке и подаче паровозов были в Черемшанске вполне приличны. Курилов похвалил. «Служим революции», – усмехнулся Протоклитов.

– Пересыпкин говорил мне, что вы противились помещению вашего портрета в газете.

– Я считал это отличие лишним, товарищ начальник. Я не делаю ничего, чего бы не могли и другие. К сожалению, конечно!

– Да... но мы на лучших примерах воспитываем отстающих.

– Я слышал про это. У меня своя точка зрения, когда дело касается меня самого. К слову, я не коренной пролетарий. И вообще это не деловой разговор!

Курилов пристально взглянул на него, и тот бесстрашно выдержал взгляд. «Гляди, гляди, старик, привыкай ко мне!» – читалось в ответном взгляде.

– У вас плохой табак, возьмите моего. – Он перебрал Протоклитову кисет, и реплика его прозвучала так: «Вы мужественный человек, зачем вам прятаться? Дайте мне уважать вас». – Вы и раньше работали на транспорте?

– Когда раньше?

– До революции, например.

Протоклитов скручивал самоделку; не упало и крупинки из его ловких и длинных пальцев.

– Вас, видимо, не на шутку интересуется моя личность, товарищ начальник, – засмеялся он, делая вид, что конфузится такого внимания. – Но жизнь моя переполнена событиями, ничем не замечательными. Детство мое идеологически не выдержано. Отца почти не помню, мать была очень набожная. Впрочем, если бы не религия, она давно подвесила бы себя на одном из тех крюков, на котором навязывала бельевые веревки. Постоянное общение с веревкой, как и с ножом, будит мысли, товарищ начальник... вы не замечали? Она была прачка, в земской больнице. Ночью, бывало, разбудит меня, лохматая, страшная, кричит...

– Она была больная?

– Она была пьяная – иногда она запивала. Тогда она требовала, в слезах, чтобы я читал ей вслух всякие патерики, сказания о святых отцах и прочие церковные выдумки. Ветер, ночь, подвальное окно снегом заносит, вонь: общественная уборная помещалась у нас в коридоре, дверь в дверь... Я читал ей какого-нибудь авву Дорофея, Максима Великого. Зевота до корчей, обоим непонятно, но она сидит против меня и плачет. Я никогда не видал, чтобы столько зараз вытекало через глаза! Но, знаете, Курилов, все матери – славные женщины. И я разбил бы лицо тому, кто сказал бы про мою дурно. Теперь я уже простил ей все – и свой ночной испуг, и эти бессонные сидения. Впрочем, многое из прочитанного нравилось и мне самому. Мне тоже хотелось жить в лесах, в каком-нибудь кедровом дупле, запросто беседовать с богородицей, останавливать взглядом диких зверей... словом, зарабатывать то царствие, о котором, помните, сказано у Иоанна Лествичника?..

– Как же, как же! – с поспешностью, как зачарованный, поддержал Курилов. – У него, у этого Ивана, прекрасная одна формула есть: в чем найду тебя, в том и буду судить!

И он взглянул в упор, но тот продолжал как ни в чем не бывало:

– ...После смерти матери (она опрокинула на себя котел с бельем!) я ушел в Сибирь. Туда меня давно влекло. Это теперь мы там понастроили, а раньше туда ходили за приключениями. – Он комически развел руками. – Вот уже целое паровозное хозяйство на руках, а все еще тянет промерить тайгу до самого океана.

– Все мы были детьми, – сочувственно сказал Курилов, потягивая понемножку сладкую горечь табака.

– Дальше началась **жизнь**. Я не шибко грамотен в марксизме, я диалектику больше по жизни изучал. Долго шатался, обовшивел весь; потом один чиновник принялся меня воспитывать. В общем, собирался из меня такого же подлеца вырастить, каким был и сам. Взятчик, сыщик... а что жену свою делать заставлял! Впрочем, благодаря ему я три года проучился в иркутской гимназии. Не бывали в Иркутске? Напрасно, непременно побывайте... Сбежал я от него; взял на дорогу новый его пиджак, портсигар и сбежал. Служил в трактире балбеской в полотняных штанах, по приискам скитался. Много позже устроился на Уссурийскую дорогу в ремонтную колонну, подручным по забивке костылей. И тут уронили раз книгу из поезда, а я поднял. И прочел, и жадность меня взяла все на свете ощупать... Но скоро попал в компанию; тут выгнали меня за выпивку. Материнское пристрастие сказалось!.. – Он озабоченно взглянул на Курилова. – Это у меня еще до вступления в партию было. Теперь я ни капли не беру. Ничего, что я так вкратце?

Зябко засунув руки между колен, он как-то жалостно улыбнулся, и восхитил Курилова этот умный, математически показанный разрез человека. Да, этот человек видел много, усвоил еще больше и уж, наверно, недешево заплатил за такое бесстрашие взгляда. «Ничего, мне и этот орех по зубам!» – думал Курилов, не сдаваясь.

– Высшее образование вы получали потом?

– Нет, я почти самоучка. Упорство – главное мое качество, а книги всегда бывали у меня основной статьей расхода. Ближе книг нет у меня родни.

– Но почему же... – усомнился Курилов. – Такая культурная семья, а сына не учили... Ваш родитель, я слышал, был видным чиновником при губернаторе?

Протоклитов ждал, что Курилов применит какой-то встречный маневр, но не думал, что это произойдет так грубо. Трубочный табак плохо курился в папиресе. Молчание длилось ровно столько, чтобы спичкой уплотнить самокрутку. Потом гость улыбнулся, и Курилов узнал знакомый желтоватый оскал зубов.

– Мне не очень нравится весь тон беседы, начальник, – сказал Протоклитов спокойно, но кожа кресла захрустела под ним. – Я вижу вас впервые. – И это была правда! – Мы не приятели и не сидим за бутылкой вина. Видимо, я мало жил, плохо смекаю. Вы всех служащих протаскиваете через такой допрос или я один не внушаю вам доверия? Вам знакомы – мое лицо, мои слова, моя фамилия?

– Ну, вот уж и рассердился! – дружелюбно рассмеялся Курилов.

Он встал, прошелся по комнате, открыл окно, выглянул наружу. Лужицы в человеческих и конских следах вздрагивали от капель измороси. Дерево линяло. Парочки не было – хорошо!

– Я не обидчив, – говорил Протоклитов, – но ты упорно путаешь меня с кем-то. Я ведь понял, для чего ты начал этот разговор. Угодно тебе слушать басни мои дальше? Но или я высокого давления жулик, или твоя память стала расклеиваться с годами. – Он уже не решался действовать прежним методом нагромождения подробностей и вести борьбу на то, кто утомится первым. – Моя фамилия Протоклитов, ты припомни! Вообще говоря, эта фамилия довольно редкая; мне говорили, в основе ее даже греческий корень. Но в Москве имеется еще какой-то Протоклитов, не то гинеколог, но то артист... кажется, довольно известный. Потом один из черниговских архиереев был тоже Протоклитов, Герасим или Иона, не помню. А с этим гинекологом, я смотрел, даже инициалы мои совпадают. Из нашей же семьи, кроме меня, не осталось мужчин. – Он снисходительно усмехнулся. – Да ты разъяснись, чудило, а то нескладно выходит!

Видно было, его терзало простецкое любопытство, с кем именно его спутал Курилов, и тот охотно шел ему навстречу.

– Понимаешь, ты напомнил мне одного чиновника царских времен...

– Пойми же, человечина, не мог я быть царским чиновником. – И, зайдя за стол, дружелюбно хлопнул Курилова по плечу. – В год объявления войны мне было восемнадцать лет!

Приличнее было для обоих объяснять интерес Курилова личной симпатией к незаурядному партийцу. Но – «Вы далеко пошли бы, Протоклитов, если бы я не попался вам на дороге!» – таков был смысл последней куриловской улыбки.

– Товарищ начальник имеет еще вопросы к обвиняемому? Меня ждут в депо.

Да, тот имел. Не менее всего предыдущего интересовала Курилова подготовка к соревнованию на переходящее знамя и еще – как осуществляется в черемшанском депо постановление ЦК о перестройке работы транспорта. Начальник очень искусно показал свое раскаянье в неосновательных подозрениях, а Протоклитов как-то слишком быстро поверил ему. Все это походило на неписаное перемирие, и когда через десять минут тот вышел, Курилов не сомневался в правдивости своих догадок.

Затем он слушал, что происходило в приемной. Вплотную эта скверная дверь никогда не притворялась. Кто-то спросил у секретаря (и голос был похож на пересыпкинский):

– Слушай, Фешкин, что это?

– Бумажка, как видишь! – ответил Фешкин. – Не тереби ты мою душу.

– Но я и спрашиваю, что за бумажка?

Все секретари Курилова бывали нетерпеливы с посторонними.

– Я ж тебе излагаю в популярной форме: один старик забыл в вагоне Алексея Никитича книги. Велено узнать адрес старика, я узнал. Понятно? Катись теперь... – И вдруг: – Эй, товарищ, частные разговоры с этого телефона воспрещены!

– Я по служебному делу. – И этот голос принадлежал уже Протоклитову.

Начальник депо вызывал черемшанский коммутатор. Он предупреждал своего дежурного, что покончил дела в дирекции и выезжает немедленно. Слегка отклонясь в сторону двери, Курилов слушал этот голос, глуховатый и с машистым разбросом слов. Теперь был похож и голос. И если бы не опасение, что раскрылся слишком рано, думать о Протоклитове доставляло ему темное и волнительное удовольствие, понятное рыбакам, птицеловам и охотникам, когда уже на прицеле добыча. Голос напоминал Курилову об удивительной поре: у него тогда хватило мужества выслушать суровый приговор с песней и с такой усмешкой, что председателю суда мигренилось до поздней ночи. И тут-то вставал в памяти рассказ Катеринки, как ходила к старику Протоклитову просить о свиданье с мужем и как скверно пошутил тот насчет домашней замены отсутствующего дружка.

Обида имела свыше чем двадцатилетнюю давность. Совсем выдохся яд той равнодушной и цинической издевки. Не в привычках Курилова, всегда небрежного к врагам, было бы желать поздней и бесстрастной расплаты. Но выстрел должен был произойти независимо от воли уже потому, что добыча начинала двигаться под прицелом. Следовало только фактически установить родство этого железнодорожника с тем статским генералом. За это, правда, говорило и совпадение фамилий, и несвойственная чину интеллигентность Протоклитова, и, наконец, то, что с дороги он задумал бежать как раз при появлении Курилова. Внимательный разбор последнего обстоятельства и сбивал Алексея Никитича с толку. Через руки председателя судебной палаты прошло слишком много всякого кандального народа, чтоб он запомнил вихрастого, задиристого паренька да еще рассказал о нем сыну годков через шесть, когда тот подрос... Словом, Курилов гнался за ним потому лишь, что тот убежал.

Будь беспартийным протоклитовский сын, Курилов нашел бы предлог без шума выкинуть его с дороги. Бок о бок находиться с ним в одной партии нравилось ему еще меньше. В эту минуту он нечаянно увидел раскрытую телефонную книгу на подоконнике. Подчиняясь еще не осознанному влечению, Курилов полистал ее лениво. Там действительно значился еще один с такой же фамилией, какой-то профессор с Чистых прудов. Решаясь на дополнительное исследование, Курилов притворил дверь поплотнее и позвонил туда. Соблазняла легкость приема, каким ловилась жертва. Требовалось только узнать, нет ли у профессора брата-транспортника. Лживость одного этого пункта означала бы порочность всей протоклитовской биографии...

Долго не отвечали. Потом голос, торжественный и гулкий, точно из готического собора, спросил, что и кому нужно.

Курилову везло, однофамилец был дома.

– Я Петроковский, – наспех выдумал Курилов и ждал, что из этого получится. – Мы виделись мельком, и при вашей загруженности работой вы вряд ли помните меня.

Профессор ответил не сразу. В раковине трубки шипело и шевелилось их собственное дыхание. Потом стали бить часы. Машинально Курилов сверил их со своими. Профессорские отставали на четыре минуты.

– Нет, сейчас отлично припоминаю. Я сперва не узнал вашего голоса. Вы относительно вашего отца?

Удивительно, как гладко и удачно налаживалось это знакомство.

– Да, я насчет отца, – наугад согласился Курилов, рассчитывая всунуть свой вопрос где-нибудь в конце беседы.

– Он умер сегодня на рассвете, – строго сказал профессор-однофамилец. – Третьего дня его оперировал сам Земель. Мой диагноз подтвердился на вскрытии: гипернефрома! Болезнь была так запущена... Он погиб при обычных для уремии явлениях.

Профессор ждал дополнительных расспросов; родственники любознательны, но Курилов как бы забыл про заготовленный вопрос. Известие о смерти выдуманного Петроковского не только настораживало. Правда, оно не испугало его. (Ему однажды довелось прийти с обыском в дом, где стоял покойник, обыск состоялся.) Это известие почему-то расслабило его. Он не клал трубки. С полминуты Протоклитов слушал его дыхание, потом произнес утешительно, что этого следовало ждать. Их разъединили. Курилов рассеянно взглянул на часы. Времени оставалось в обрез, чтобы выслушать сводку, принять редактора дорожной газеты Алешу Пересыпкина, который уже буйствовал у секретаря, и отправляться в наркомат.

Вошел Фешкин и сказал, что машина подана.

Братья Протоклитовы

Первая часть протоклитовской биографии, пока действовала инерция социального происхождения и полученного воспитания, действительно изобиловала вредными подробностями. Они были недостаточны, чтоб столько лет спустя умертвить его физически, но их хватило бы, чтобы он споткнулся о них на всю жизнь. Конечно, то была случайность, что однажды Глеб приехал на каникулы к отцу, а городок был отрезан белыми и студента путейского института мобилизовали на восстановление государственного порядка, растоптанного большевиками. Еще в юности Глеба отличала от товарищей положительная трезвость взглядов. И раз не удалась путейская карьера, стоило сделать попытку отыгаться на другом. Глеба не на шутку увлекла карьера национального героя. Кое-кто из бывших приятелей мог бы многое порассказать о делах и намерениях молодого поручика, по счастью не осуществленных никогда. Ему пришлось на собственном опыте изведать изменчивость политического успеха, нюхнуть власти и дать ее почувствовать другим, а потом узнать горечь поражений и разочарований.

Мирный городок из глубокого тыла передвинулся вдруг на передовую позицию самого грозного из фронтов. Он стал столицей всего Приуралья, и обыватель последовательно знакомился с ужасами российской контрреволюции, а затем с механикой партизанской войны и суровой логикой народного гнева. Белый фронт закачался и заскрипел. Получив распоряжение об отводе своей части, Глеб Протоклитов зашел проститься с отцом. Действительный статский советник сидел на скамеечке в уборной и спускал в трубу какие-то бумаги. Он бегло просматривал их при этом и вполголоса разговаривал сам с собой.

– Папа приводит свои дела в порядок?

– Всякий за своим делом. «С ношей тащится букашка, за медком летит пчела», – ворчливо процитировал старик, не оборачиваясь к сыну. – Говорят, вас под Казанью шарахнули? Что у вас там, всё бегствуете?

– Назначена общая эвакуация, отец.

– А, пора кончать, надоело. Ночью стреляли, я не спал.

– Матросы... нарвались на заградительные огни. Многие взяты живьем.

– Да, я видел, как вели утром. Имей в виду, никогда не оставляй позади себя обиженных... живыми. Наше поколение этого не понимало. Вот я просматриваю всякое старье... – Он с вожделием ненависти погрузил руку в архивную пачку, ожидавшую его расправы. – Сколько их прошло через мои руки... и горько обнаружить к старости, что и ты был таким же гуманистом, правдоискателем, русским дерьмом!

Отец был очень стар. Обострившимся взором Глеб попеременно смотрел то на желтые, редковолосые складки старческого закривка, то на крючковатые, подагрические пальцы. Старик ушел в отставку всего четыре года назад; сейчас он подводил итоги своей многолетней деятельности. Протоклитовы никогда и ничем не обманывались. Все становилось ясно. Городок уже горел; при Пугаче занималось с той же стороны. Осадное положение было объявлено три дня назад. Ни смех, ни людская речь – один скрип повозок и лафетов доносился сюда. Старик заговорил не прежде, чем дочитал какую-то бумагу.

– По прямому назначению! – сказал он, и труба зарычала. – Любопытная эволюция понятий. Каждое высокое звание, которого люди добиваются с риском для жизни, когда-нибудь становится ругательством. Так случилось со словом интеллигент... Прости, что ты сказал?

– Я спрашиваю, хочешь со мной? Я постараюсь устроить тебя в обозе. Остальное, к сожалению, зависит не от меня.

– Не стоит, милый. Туда можно доехать короче, – ворчливо и растроганно бросил старик, вспарывая новую пачку. Впрочем, он поднялся обнять сына. – Извини, что принимаю тебя в таком месте. Тяжко тебе?

– Да, вы оставляете нам мир в скверном состоянии... и мы не умеем отказаться от наследства. Я хотел строить железные дороги, изобретать паровозы, отец, а меня заставляют...

– ...работать на социальной эпидемии? – засмеялся старик. – Ничего, и еще раз запомни: бойся уцелевших обиженных. Иди... Встретишь Илью, скажи ему, что он интеллигент и дурак, а кроме того, перебежчик. Балда, кому поверил: большевикам! И если господь не благословит его пулей в затылок заблаговременно, его обстригут, дадут два раза по шее и выгонят... Ну, дай я перекрещу тебя. Ступай... – И пихнул в плечо с плаксивой и бессильной лаской. Он тоже торопился: личные его архивы были громадны, а часа через два красные части должны были вступить в городок...

Глебу пришлось принять участие в одном из самых лютых отступлений. Сибирь взрывалась на каждом шагу. Когда крылатые, почти осатанелые советские командармы стали наступать, он спрыгнул с бронепоезда и бежал в ночь. По нему стреляли свои же. Провидя все наперед, он добровольно отказался от ладных санок и верховой лошади, полагавшихся ему по чину. Со споротыми погонами, коверкая речь и обличье, в раскромсанных сапогах, потому что опухали ноги от беспрестанного бегства, Глеб отступал вместе со своей солдатней... Потом он искал новых знакомств и обдумывал попытку вмешаться в свою судьбу. Стало много труднее рождаться заново в третий раз. Каждую деталь новой биографии он кропотливо обтачивал под лупой. В эту пору руки его часто покрывались кровяными мозолями с непривычки. Начав себя чернорабочим в ремонтной колонне, он быстро стал дорожным мастером и в два года прошел учебу на машиниста. Как многие в те времена, он скрыл свою предварительную техническую подготовку. Его добротные познания тем охотнее принимали за следствие природной одаренности, что это подтверждало распространенную тогда уверенность, будто культуру поколения можно сработать в кратчайшие сроки. Ничто не преграждало ему путей к дальнейшему повышению. Порой он даже пугался убыстрения своего роста: следовало помедлить! Но те, кто помнил его до последнего перевоплощения, были или расстреляны, или, подобно Курилову, с достаточной скоростью катились в старость. О, поддуваемое ветерком одержимости, это поколение горело хорошо!

И вдруг пришло письмо от приятеля, чудом уцелевшего, как и он сам. Это случилось после того, как Протоклитова расхвалили в газетах за изобретение батальонов колхозной самодеятельности в борьбе с заносами. Это очень искреннее письмо, кроме дружеских излишаний, понятных по прежней близости, содержало просьбу о присылке пятисот рублей... «...Понимаешь, я не обратился бы к тебе, если бы деньги нужны были мне самому. Эти несчастные червонцы предназначаются моей старушке матери. Конечно, ты помнишь ее и сам: это у нее мы провели неделю во время наступления на Котлас. Она до сих пор чтит тебя, как сына, и молится о тебе всякую ночь. Здоровье ее, под влиянием понятных страхов, сильно пошатнулось в последнее время; у нее накопилась какая-то задолженность, а мне так хочется чем-нибудь помочь ей. Будет еще лучше, если ты сам отвезешь эту сумму матери. Я, к сожалению, совсем запутался, а у тебя, как у железнодорожника, имеется, конечно, бесплатный проездной билет. Ты сможешь погостить у нее и отдохнуть. Ее зовут Полина Петровна, если ты не забыл. Разумеется, Глебушка, если сумма для тебя разорительна, пошли ей пока триста, после дошлешь остальное...»

Нет, сумма была не такова, чтобы испугать Глеба, хотя он и не имел ее на руках; но отозваться на просьбу Кормилицына значило признать себя сообщником этого человека. Впрочем, пока это пахло еще не шантажом, а только простодушной глупостью пошляка. И по этому признаку Глеб зрительно припомнил белобрысого, безобидного, небольших воинских чинов верзилу с непропорционально маленькой для такого туловища головой. Помнилось также, балбес этот был большим любителем карточных пасьянсов, шпрот, французской борьбы и рассуждений на генитальные темы; кроме того, он брэнчал на чем-то струнном и обожал рассказывать невероятные истории, бывшие предметом товарищеских издевательств.

Протоклитов получал в месяц четыреста, но промолчал он на письмо совсем из других соображений. Вражда с дураком не умнее дружбы, а письмо Кормилицына могло и не дойти по адресу... Месяца через полтора, однако, пришло и другое. Приятель жаловался на забывчивость Глеба и довольно подробно упоминал, что он – тот самый поручик Кормилицын, Евгений Львович, Женька, которого Глеб когда-то выручил из одной неприятности. «Старушка пишет мне, что денег от тебя до сих пор не получала. Не знаю, чем объяснить твою черствость; а я-то предполагал в тебе сердце еще довоенного образца! Если же ты так высоко забрался, что я могу скомпрометировать тебя, как павший человек, то вот тебе стишок на это: “Ты меня не любишь, ну и бог с тобой, – черт тебя накажет серной кислотой!”» Дурак был, видимо, из вредных. По счастью, никто третий не интересовался пока перепиской начальника черемшанского депо. Эти пятьсот Глеб взял заимобразно у брата и под вымышленной фамилией послал по приложенному старушкину адресу с таким чувством, точно опускал деньги в вонючую дыру. Кормилицын замолк, на этом дело и покончилось.

Теперь уликой становился даже брат. На его холостяцкую квартиру Глеб отправился прямо от Курилова. Каждая минута была дорога ему. В случае отсутствия Ильи он решился на этот раз проехать к нему в клинику. Братья не виделись два года. Установилось правило не надоедать друг другу расспросами. Оба были холосты. Глеб благоразумно избегал заводить под боком у себя врага или двойника; делиться кроватью означало делиться и едой, а там и до души недалеко. Илья жил наедине со своей коллекцией часов и с книгами; поместить жену было некуда... Оба были хорошего роста, расчетливы в мелочах; отличались сдержанностью, пока не начинал действовать какой-то взрывчатый механизм, спрятанный в обоих. Оба удивляли отменным здоровьем, требовательностью к себе и одинаковой силой воли. Однако это были совершенно разные люди.

При разнице всего в четыре года братья не имели никакого сходства. Перечисленные черты Глеба были искажены, преувеличены до безобразия в Илье. Профессор был не столько высок, сколько длинен; не плотен, а костист; смуглый румянец Глеба выродился у Ильи в неприятную краснотцу кожи, которая вдобавок постоянно шелушилась на скулах. Знаменитые зубы были слишком крупны у Ильи, чтоб его украшал этот родовой протоклитовский признак. Впалые виски удлиняли его голову, шишковатую, выбритую, посаженную на массивную шею. Словом, все протоклитовское заключалось в нем в преизбытке. «Бог сердился и переложил в него нашего добра, когда лепил его, – сказал про него иронический старик Игнатий, – и оттого Протоклитова не получилось». Отец не любил и боялся Ильи, Глеб уважал и остерегался брата, Илья тяготился обоими.

С порога Глеб спросил: дома ли? Старуха в кухонном подряснике поглядела на его грязные сапоги и сказала, что профессор не принимает на дому. Гость подчеркнул, что ему нужен не профессор, а Илья Игнатьевич!.. Он отпихнул старую, прежде чем та успела добиться, как следует доложить о нем. С какого-то времени жизнь в этом доме стала происходить по строгому этикету... Половинка двери в столовую (а два года назад здесь помещалась библиотека!) была открыта. Глеб сразу увидел длинные, в узких ботинках, ноги Ильи; они отражались в сумеречных бликах на паркете.

– Га, летучий голландец! – без особого оживления сказал Илья, не поднимаясь из своего низенького кресла.

– Я спешу и не задержу тебя, – еще из прихожей предупредил Глеб. Он раздевался и все старался уловить, какая именно произошла здесь перемена. – Здравствуй... вижу, ты не особенно обрадован моим нашествием!

Илья качнул головой, брови поднялись с медлительностью шлагбаума.

– Было бы славно, если бы ты зашел получасом позже. Но хорошо и то, что ты не появился на полчаса раньше. Нет, не зажигай! – дернулся он, когда Глеб потянулся к выключателю.

Стало поздно тащить гостя в соседнюю комнату: тот все уже увидел.

Пол был засыпан белыми, неправильной формы лепестками; огромная, с кочан, роза отцвела и осыпалась здесь полчаса назад. Лепестки были из фарфора. Они не звенели, а с глиняным хрустом лопались под ногами. Разбитая вещь была большая и не особенно ценная.

– Ни о чем не спрашиваю тебя, но живешь ты, по-видимому, шумно. Кто это наделал? Собака?

– Нет, жена, – скучным голосом сказал профессор и, хотя были сумерки, стал смотреть себе на ногти. – Это сор в моей избе.

Глеб схватил брата за плечи.

– Старик, два года назад ты сам настоятельно остерегал меня от женитьбы. Что это, несчастный случай, любовь, оплошность?

Старший Протоклитов погладил острые свои колени. Через его руки, привычные руки хирурга, ежемесячно проходили сотни пациентов. Ему ли было не знать, какие случайности постигают неосторожных!

– Не говори так громко. Старуха может передать ей. И будь снисходительнее к людям старше себя! – ответил он сконфуженною шуткой.

Глеб притворил дверь. Все это было так невероятно, что собственное его дело мельчало в сравнении с такой катастрофой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.